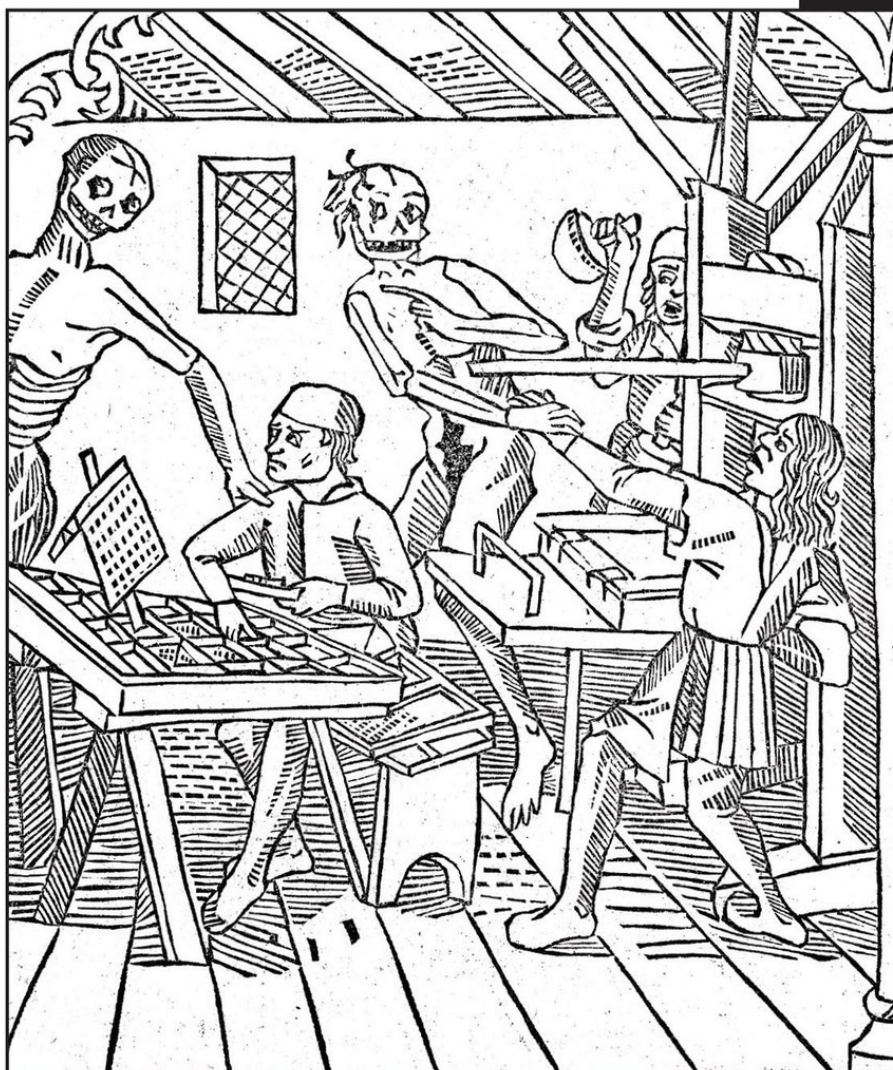


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЛЕВ ГУДКОВ, БОРИС ДУБИН



# ЛИТЕРАТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

СБОРНИК РАБОТ

Научная библиотека

Борис Дубин

**Литература как социальный  
институт: Сборник работ**

«НЛО»

**Дубин Б. В.**

Литература как социальный институт: Сборник работ /  
Б. В. Дубин — «НЛО», — (Научная библиотека)

ISBN 978-5-44-481416-1

«Литература как социальный институт» – почти ровесница независимой гуманитарной науки в России и одна из первых книг издательства «НЛО». На протяжении многих лет ее авторы, социологи Лев Гудков и Борис Дубин (1946–2014), стремились выработать новые подходы, позволяющие охватить институт литературы в целом, объяснить, как люди выстраивают свой круг чтения и с какими социальными процессами связан их выбор. В своем новаторском и по-прежнему актуальном исследовании ученые продолжили исследование проблемной карты социологии литературы, вводя эту дисциплину в научный контекст России середины 1990-х годов. Читатель книги познакомится с историей понятий «литература» и «роман», со становлением художественной литературы как института и вычленением в ее рамках классики, авангарда и массовой литературы, находящихся в отношениях взаимного отталкивания и взаимовлияния. Авторы прослеживают сложные и нередко конфликтные взаимосвязи между писателями, издателями, книгопродавцами, литературными критиками, читателями и педагогами, анализируют роль журналов в литературном процессе, изучают влияние образа книги на читательскую аудиторию. Новое издание дополнено рядом близких по проблематике статей авторов и предисловием Л. Гудкова с размышлениями о значимости этого проекта.

ISBN 978-5-44-481416-1

© Дубин Б. В.  
© НЛО

## Содержание

К ИСТОРИИ ОДНОГО НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА	6
Л. Гудков, Б. Дубин	25
ОТ АВТОРОВ	25
ЛИТЕРАТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ	30
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# **Лев Гудков, Борис Дубин Литература как социальный институт. Сборник работ**

## **К ИСТОРИИ ОДНОГО НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА**

*Л. Гудков*

Предложение «НЛО» переиздать нашу книжку о социологии литературы удивило и обрадовало меня. «Литература как социальный институт» была первым выпуском серии «Научная библиотека» издательства, ставшего с течением времени одним из самых авторитетных предприятий в сфере гуманитарного знания в России. Сегодня старые споры о теории и истории литературы, открытости литературоведения и его потенциале, идеологической политике государства в сфере книгоиздания и прочее потеряли свой смысл вместе с исчезновением массового интереса к литературе. Литература утратила какие бы то ни было иллюзии привилегированности своего статуса, который она якобы имела у гуманитарной бюрократии. С исчезновением интеллигенции ее претензии на «миссию несения и защиты высокой культуры» потеряли какой бы то ни было смысл. Советское «дефицитное общество» стало наконец «потребительским». У тех, кто заменил интеллигенцию, кто несколько манерно объявил себя «креативным классом», нет интереса к литературе, истории, знанию, равно как нет нужды оправдываться перед кем-либо за свое невежество, вкусы и тем более заниматься реабилитацией или анализом массовой культуры. Новые каналы открыли ранее запретные ресурсы для коллективной идентификации – православие, гедонизм массового потребления, агрессивный национализм, самодовольство «класса усредненных». Появились новые источники знания о действительности – экономические, социологические, демографические исследования, возникла газетная и сетевая публицистика, вытеснившая литературу и литературную критику из зоны общественного внимания. Сама литература стала скучной, не дающей читателю особых средств для понимания себя и окружающей жизни. Она погрузилась в почти бессознательное перебирание мотивов человеческой несостоятельности и мелочности существования (занятие, чаще всего прикидывающееся «воспоминаниями» о пережитом когда-то насилии и предательстве) либо в эскапистские фантазии о параллельных мирах, утопиях и других утешениях бедного социального воображения. Точка зрения социологии литературы сегодня оказалась избыточной и ненужно сложной. Но именно поэтому я искренне благодарен «НЛО» за сделанное предложение.

С этой книгой, которая для нас с Борисом Дубиным стала первым более или менее систематическим изложением теории этой дисциплины, связан большой кусок нашей жизни – больше 15 лет интенсивной и веселой работы, споров с историками литературы, вдохновений, разочарований, надежд, уныния и т. п., что обычно сопровождает общее дело. Но с тех пор, как она вышла, я редко открывал ее, занимаясь другими научными предметами, и, готовя ее сегодня к печати, перечитывая старые тексты, переживал самые противоречивые чувства – иногда удивления, иногда досады.

Наша книжка воспроизводит все особенности переходного состояния – от самиздата (фазы «устной социологии», атмосферы научных семинаров конца 1970-х – начала 1980-х годов) к новой публичности. Крах советской системы, который тогда казался окончательным, открывал множество новых возможностей. Снятие цензуры, возникновение независимых

научных институтов, журналов, издательств, партий, газет, появление мелких кооперативных издательств и проч. сделали реальными перспективы выхода к публике из ранее закрытых сообществ, в которых мы тогда жили, публикацию «непроходных» текстов, давно лежавших в столах. Все стало возможным, но начинать и делать надо было только самим, у новых организаций, при их смелости и открытости, не хватало ни сил, ни средств. Надо было спешить, компетентность к ним пришла позже.

Поэтому первые наши издания выглядели очень кустарно и дилетантски<sup>1</sup>. У книжки не было литературного редактора (фигуры, ненавистной многим авторам прежде), о чем сегодня приходится сожалеть; в ней много еще чего осталось от «самопала» и «самодеятельности»: верстку и макет готовили наши коллеги в первом ВЦИОМе. От условий цензуры 1970–1980-х годов – известная «герметичность» письма, особенно в ранних текстах, написанных скорее «для себя», чем «для других», излишний упор на строгости терминологии (которую мы сами же тут и вырабатывали) и многое другое. Все эти недостатки тогда казались не слишком важными, главное – давно написанные тексты, содержащие, как мы были уверены («мы новые», «мы придумали!»), развернутую теоретическую схему или проблемную карту социологии литературы, наконец были опубликованы. После нее еще выходили наши статьи и книги<sup>2</sup>, отчеты по законченным проектам исследований чтения и издательской деятельности, но такой, с нашей с Борисом точки зрения, более или менее систематизированной картины научных работ, концептуальной основой которых мог бы служить предлагаемый теоретический подход, уже не было.

Как это часто бывает, повод для начала этой работы был случайным: нашей руководительнице – заведующей Сектором книги и чтения Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ) Валерии Дмитриевне Стельмах – нужно было подобрать какие-то работы и составить небольшой список публикаций по социологии литературы для выступления на очередной конференции ИФЛА (Международной федерации библиотечных ассоциаций). Сам по себе этот запрос оказался катализатором для разработки новой теории литературы, необходимой для интерпретации уже проведенных в секторе исследований (опросов читателей в малых городах и в селе) и накопленного, действительно огромного и уникального по своей сути массива данных, регулярно, раз в два года, получаемого из тысяч массовых библиотек по всему Союзу в рамках программы исследований «Динамика чтения в массовых библиотеках СССР»<sup>3</sup>. (Только в СССР и только в позднее советское время можно было установить такой порядок сбора эмпирической информации.) Растущая неудовлетворенность качеством интер-

<sup>1</sup> Например, «Статьи по социологии» Ю. Левады – сборник статей, написанных в 1970–1980-е годы, почти не известных никому из-за запрета на упоминания в печати имени автора. Он был собран и опубликован без ведома самого Ю. А., поскольку мы готовили его как подарок к его 60-летию. Помимо этого сборника, именно так, «в частном порядке», в 1991–1993 гг. мы издали коллективные монографии «Есть мнение» (М., 1991), «Советский простой человек» (издательство «Мировой океан»), я – свою «Метафору и рациональность» («Русина», 1994) и др.

<sup>2</sup> Гудков Л., Дубин Б. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. М.: ЭПИЦентр; Харьков: Фолио, 1995; Дубин Б. Слово–письмо–литература. М.: НЛЮ, 2001; Гудков Л., Дубин Б. Общество телезрителей: массы и массовые коммуникации в России конца 90-х годов // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 2001. № 2. С. 31–45; Они же. Институциональные изменения в литературной культуре России (1990–2001 гг.) // Там же. 2002. № 6. С. 43–55; Они же. «Эпическое» литературоведение: стерилизация субъективности и ее цена // НЛЮ. 2003. № 59. С. 211–231; Гудков Л. Институциональные рамки чтения: консервация культурных разрывов // Читающий мир и мир чтения. М.: Рудомино, 2003. С. 20–38; Гудков Л., Дубин Б. Издательское дело, литературная культура и печатные коммуникации в сегодняшней России // Либеральные реформы и культура. М.: ОГИ, 2003. С. 13–89; Гудков Л. Институциональные рамки чтения: консервация культурных разрывов // Читающий мир и мир чтения. М.: Рудомино, 2003. С. 20–38; Гудков Л., Дубин Б. Разложение институтов позднесоветской и постсоветской культуры // Куда пришла Россия?.. Итоги социальной трансформации. М.: МВШСЭН, 2003. С. 174–186; Они же. Российские библиотеки в системе репродуктивных институтов: контекст и перспективы // НЛЮ. 2005. № 74. С. 166–202, и др.

<sup>3</sup> Этот массив образовался посредством регулярной фиксации библиотекарями записей из книжных формуляров о взятых книгах и журналах. Они соотносились с самыми общими социально-демографическими характеристиками читателей (пол, возраст, образование, характер занятий).

претации этих данных была вызвана тем, что рутинные классификационные таксономии литературных произведений (жанр, тематика, вид и т. п.) демонстрировали свою все большую бессмысленность и непродуктивность. Попытки эклектической типологии данных, характерные для библиотковедения, с его дидактическими или псевдоэстетическими подходами и определениями, выработанными под задачи идеологического «руководства чтением», разбивались об устойчивые предпочтения читателей. Интервью читателей, которые мы проводили, показывали, что люди хотели читать совершенно не то, что предлагалось партийными начальниками, и, уж точно, мыслили себя и свои интересы в иных категориях, нежели библиотечные «жанрово-тематические комплексы». Это была первая причина; вторая – острый соблазн «посмотреть» через то, что читают люди, что для них важно, на то, что происходит в реальности. Он был слишком велик, чтобы довольствоваться той жвачкой, которая появлялась в результате завершения обсчетов библиотечных списков читаемых книг.

То, что составляло предмет читательского спроса, – дефицитные книги, запираемые заведующими библиотек в отдельные шкафы и выдаваемые для «своих читателей», насчитывало всего 2–3% от номенклатуры издаваемых книг. И, напротив, свыше 50% издаваемых книг и журналов (преимущественно, конечно, общественно-политического плана, но не только) никогда не открывались читателем и спустя недолгое время списывались в утиль. Основа массового спроса в библиотеках складывалась, прежде всего, из толстых романов-эпопей Г. Маркова, П. Проскурина, А. Черкасова и им подобных, тривиальных по своей поэтике, но издаваемых миллионными тиражами и – главное – читаемых, причем по собственной воле, а не из нужды, отсутствия других книг или принуждения. Хотя бы поэтому само явление заслуживало гораздо большего внимания и интереса к себе, чем снобистское презрение к «секретарской» или «советской литературе», присущее хорошим литературоведам и историкам литературы. Но отнестись к ним серьезно можно было, только сделав их предметом не эстетической оценки (хотя и это было бы в высшей степени интересным, если анализировать их с точки зрения того, как «оседают» в этом литературном иле приемы и конструкции, разработанные на предыдущих стадиях литературного процесса авангардными авторами), а социального, культурного, даже антропологического анализа. В этих бездарных с точки зрения «высокой» литературы произведениях можно было увидеть следы важнейших социальных и антропологических процессов: завершения формирования тоталитарного сознания и начало его разложения в ходе крайне противоречивой модернизации, скорее – в форме урбанизации, появления «массового общества», но не западного открытого типа, а совершенно иного – внутренне закрытого, дефицитарного, лишенного внутренних механизмов автономной самоорганизации. Тогда мы только начали нащупывать едва проступающие черты того русского имперского национализма, который сегодня, спустя 40 лет, превратился в основу национальной идентичности. Под мертвой уже тогда оболочкой советской (как бы марксистской) идеологии шли совершенно другие процессы, которые в тот момент казались отклонением или малозначимыми странностями. В этих романах-эпопеях прорабатывались, перерабатывались, соединялись, казалось бы, несоединимые мотивы: очень тривиализированная славянофильская метафизика «почвы и крови» с апологией сталинской модернизации, оправданием террора и антизападничества, универсализм городских представлений о времени с консервативной, как бы архаической деревенской локальной моралью. Будь мы тогда поумнее, начитаннее или обладай мы инструментарием, опытом и знаниями, которыми мы располагаем сегодня, можно было бы увидеть, как распространяется эта новая, аморфная, эклектическая, но именно поэтому все более действенная изоляционистская идеология русского национализма (идеология не гражданской нации, а авторитарного фундаментализма, этого своего рода *китча* советского тоталитаризма), из каких элементов и их соединений она состоит, какими средствами она пользуется. Соответствующая рецепция такого теоретического подхода и знания позволила бы гораздо точнее диагностировать механизмы трансформации и разложения тоталитарного сознания, логику распада



и реверсного восстановления тех институтов, которыми они определяются, а соответственно, более адекватно представлять себе нынешнее состояние (ментальное, моральное) российского населения. Но что об этом говорить. Ни литературная критика, ни мы сами не были готовы к такой работе. И дело не в идеологической цензуре. В тот момент эти, не отмеченные каким-либо анализом фундаменталистские литературные потоки сливались с другими или терялись на фоне гораздо более ярких произведений деревенской прозы, городской литературы, артикулирующей пробивающуюся автономную субъективность.

Поэтому дело не только в необходимости найти новые варианты социального анализа и объяснения читательского выбора. Гораздо более важным, ценностно определяющим, мотивирующим было упорное желание понять, что «стоит за чтением», какие идеи, какие антропологические или моральные представления определяют картину мира обычного советского человека, его способности к самосознанию, к пониманию других, особенности исторической памяти, работы с прошлым, а значит – каковы ресурсы советской системы и где искать возможности ее изменения. В этом мы разделяли те общие установки интеллигентской среды, которые сложились после 1968 года. Возобновление политических судебных процессов над писателями в 1965 году, подавление Пражской весны поставили крест на оттепельных иллюзиях – возможности реформирования государственного социализма, трансформации его изнутри и построения «социализма с человеческим лицом». Репрессии против подписантов, начавшиеся в 1970-е годы, погромы и чистки в академических институтах изменили моральный климат в неформальных средах интеллигентского общения (если его сравнивать с хрущевской «оттепелью» первой половины 1960-х годов).

Сами по себе 1970-е годы были, как теперь выясняется, очень интересным временем для анализа умонастроений позднего тоталитаризма. Советский социализм как идея исчез с научного или философского горизонта<sup>4</sup>, но само по себе «прогрессистское сознание» осталось и обернулось интересом, с одной стороны, к концепциям модернизации (вестернизации, конвергенции, в более проходном с точки зрения цензуры виде – урбанизации), а с другой – к тематике исторической или даже традиционно-архаической глубины или многослойности культуры. Поэтому интеллектуальные усилия образованного сообщества были направлены на освоение открывшегося тогда мира западной мысли – научной, философской, эстетической – и переосмысление отечественных исследователей, философов и богословов досталинского периода – от О. Фрейденберг или М. Бахтина до П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Франка или «веховцев». Поскольку перспективы карьерного роста или продвижения были для абсолютного большинства этого слоя или сообщества закрыты, то основная энергия была направлена на чтение, а также – обсуждение этих новых, поражающих воображение идей западной культуры, выработку целостных интеллектуальных систем, компенсирующих пустоту мертвой партийной идеологии. И сами сравнительно молодые еще тогда мэтры (Ю. Лотман, С. Аверинцев, М. Мамардашвили, А. Пятигорский, Б. Успенский, А. Гуревич, Ю. Левада и другие, всех не перечислишь, даже если говорить только о Москве и Ленинграде) стремились к выработке целостных конструкций, системного видения предметных сфер.

То, что это был «запретный плод» как бы настоящего знания, лишь повышало самооценку приобщенных. Целое поколение не то чтобы учеников этих шестидесятников, а скорее их прозелитов было занято «бескорыстным» («незаинтересованным», как сказал бы Кант), но именно поэтому идеалистически мотивированным стремлением охватить то, что было ранее недоступно. Неформальные семинары (Ю. А. Левады, М. Я. Гефтера, Г. П. Щедровицкого и других), «Чтения» (вроде Випперовских, позже Тыняновских, конференции в ВИНТИ, ИФ РАН и др.), бесконечные разговоры о прочитанном создавали среду любопытства и игрового

<sup>4</sup> Хотя он до сих пор живет в массовом сознании в стертом виде государственного патернализма, утопии социал-демократического государства всеобщего благосостояния.

обсуждения. Очень редко, когда эти «расхождения с советской властью» принимали характер полного разрыва (куда деться в тотальном обществе-государстве), обычно дело заканчивалось тихой интеллигентско-бюрократической службой, дополненной кухонной фрондой и стебным дистанцированием от официальной риторики. Но – что было характерно по умунастроению именно для всего этого круга, не слишком, впрочем, широкого, – это быстро развивающееся освоение прежде закрытых сфер знания – славянской архаики, раннего Возрождения, скандинавской мифологии, католического экзистенциализма, структурализма, феноменологии, логического позитивизма и непрерывного обмена ими во всякого рода разговорах в курилках, семинарах, «журфиксах», «выпивонах» и т. п. (Сужу об этом не только по короткому и счастливому времени работы в секторе Левады в Институте конкретных социальных исследований АН СССР, но и по более продолжительному – в Отделе философии ИНИОНа, где были такие возможности свободного чтения и доступа к любой литературе, о которых и сегодня можно только вздыхать.) В этом плане даже атмосфера в Секторе книги и чтения была очень человеческой и свободной.

Поэтому задача составить коротенькую библиографию по социологии стала толчком для того, чтобы накопленные ранее знания мгновенно кристаллизовались в проблему междисциплинарного синтеза (так, я слышал, что даже легкое прикосновение к переохлажденной воде ведет к мгновенному образованию корки льда).

В нашей работе по социологии литературы соединились самые разные потоки и интересы: эрудиция переводчика и опыт комментирования зарубежной литературы, участие в неформальных объединениях с интересом к понимающей социологии, герменевтике, критическому рационализму, этнометодологии, культурной и социальной антропологии, истории литературы и проч. Но внутренне все это объединялось или обуславливалось, соединялось с глубоко сидящим и почти не артикулируемым интересом: а каковы ресурсы и механизмы воспроизводства или изменения советской системы? Такая задача могла возникнуть только в определенной ситуации – конstellляции обстоятельств 1970-х годов. После этого времени мало кто ставил такие задачи, поскольку позже исчез сам интеллектуальный прорыв поколения шестидесятников. Мы не принадлежали к нему, но мы еще заряжались от наших учителей.

Для закрытого или тоталитарного общества литература, казалось, давала какую-то возможность говорить о многих вещах, о которых прямым образом рассуждать было невозможно. Хотя литературная критика («Нового мира», «Дружбы народов», «Юности» и других литературных журналов) пробовала это делать. Пусть даже в рамках тривиальной просвещенческой идеологии: «литература – это отражение (зеркало) жизни». Такие установки могли казаться более или менее подходящими для так называемой «реалистической поэтики» – рутинной конвенциональной манеры описания типовых конфликтов и способов их решения, набора героев, сюжетов и т. п. Ни для «фантастики», ни для авантюрной поэтики или поэтики исторического романа, не говоря уже об авангарде, зауми и прочих способах представления литературной вселенной, это не годилось. Простые ходы, вроде «общей переписи» литературных героев (как это несколько позже предлагал Д. Самойлов), были явно недостаточны для решения таких задач.

Для серьезной аналитической работы с литературными текстами необходим был понятийный инструмент, который позволял бы переводить «литературные конструкции» (героев, персонажей, разбитых на «социальные действия» или «социальные роли»; время и пространство действия, фоновые детали и обстановку – *Spielraum*, *setting*, *social milieu* и т. п., опознаваемые и приемлемые формы разрешения конфликтов и многое другое) в средства социологического описания и анализа, а именно: в социальные нормы, действия, роли, группы, институты, сообщества или объединения, формы социального порядка и его нарушения, типы проявления аномии, социальную структуру, мобильность и проч. И именно такого рода понятийные средства стали предметом нашего поиска при быстро разрастающейся «библиографии» по социологии литературы.

За три года мы, Борис Дубин, Абрам Рейтблат и я, просмотрели большей частью *de visu* два-три десятка тысяч материалов (статей, книг) по социологии, социальной истории литературы, книгоизданию, герменевтике, рецептивной эстетике, психоанализу искусства и литературы, культурологии, литературоведению, проаннотировав несколько тысяч из них. В изданный в конце концов в ИНИОНе АН СССР (а не в ГБЛ, где мы работали) библиографический указатель<sup>5</sup> вошла (не по нашей воле) лишь часть этого собранного массива (точнее – только 1808 названий). Объяснения необходимости этих сокращений и ограничений инионовской администрацией давались как технического (ротапринт не мог проглотить больше 25 п. л.), так и идеологического характера (не проходили ссылки на Л. Троцкого, евромарксистов и т. п.). Но даже в таком урезанном варианте это был третий пример библиографического издания по социологии литературы (после короткой публикации Х. Данкана 1954 года и развернутых работ по социологии искусства и средствам коммуникации А. Зильбермана<sup>6</sup>), причем на тот момент – самый полный. Разумеется, не все эти работы были собственно социологическими, даже не самая большая их часть, но так или иначе они указывали на разные варианты интерпретации (или возможности таковой) литературных явлений, предлагаемых разными дисциплинами. Поэтому со временем перед глазами возникло проблемное поле исследований «литературы» как структуры различных сетей взаимодействий по поводу «литературы». Приведу оглавление этого указателя, чтобы показать внутреннюю структуру этой новой дисциплины:

### **1. Теория, методология, методика социологии литературы**

- 1.1. Обзорные работы, справочники, библиографии.
- 1.2. Хрестоматии.
- 1.3. Теоретические и методологические подходы и их критический анализ. Основные проблемы. Персоналии.
- 1.4. Методика и техника эмпирических исследований.
- 1.5. Социология и литература: общекультурные значения и специфика предметных областей.
- 1.6. Социология литературы и литературоведение: дисциплинарное разграничение.

### **2. Исторические определения и самоопределения литературы. Нормы литературности**

- 2.1. Понятие литературности. Общие работы.
- 2.2. Типы литературы (низовая, тривиальная, маргинальная, не-литература и т. п.).
- 2.3. Модусы литературного (психологическое, реалистическое, высокое, чувствительное, захватывающее и т. п.).
- 2.4. Устное–письменное–печатное: границы функциональной значимости нормативной литературной культуры.
- 2.5. Функциональные эквиваленты литературы.
- 2.6. Литературная социализация.

### **3. Литература как социальный институт**

- 3.1. Социальная система литературы, ее компоненты, исторические типы.

---

<sup>5</sup> Книга, чтение, библиотека. Зарубежные исследования по социологии литературы: аннотированный библиографический указатель за 1940–1980 гг. М.: ИНИОН АН СССР; ГБЛ СССР, 1982. 402 с.

<sup>6</sup> *Duncan H. D.* Language and literature in society: a sociological essay on theory and method in the Interpretation of linguistic symbols, with a Bibliographical guide to the sociology of literature. Chicago, 1953; *Silbermann A.* Empirische Kunstsoziologie. Eine Einführung mit kommentierter Bibliographie. Stuttgart, 1973; позднее он выпустил еще ряд книг, гораздо более близких к нашей тематике, но которые мы уже не могли включить в свою работу: *Silbermann A.* Einführung in die Literatursoziologie. München, 1981), в том числе – двухтомную комментированную библиографию по этим проблемам (1986).

- 3.2. Социальный статус писателя. Внешние источники и формы легитимации.
  - 3.2.1. Исторические проекции роли писателя.
  - 3.2.2. Социальные организации писателей.
- 3.3. Читатель.
  - 3.3.1. История читателя.
  - 3.3.2. Социально-демографические характеристики читателей и читательское поведение.
- 3.4. Критик в социальной системе литературы. Функции критики.
- 3.5. Институциональные механизмы взаимодействия литературной системы с социальной системой общества.
  - 3.5.1. Книгоиздание и книготорговля.
    - 3.5.1.1. Социальная роль издателя и книготорговца.
    - 3.5.1.2. Книжный рынок и чтение.
    - 3.5.1.3. Формы изданий.
    - 3.5.1.4. Издательские стратегии.
    - 3.5.1.5. Складывание специфических генерализованных посредников как предпосылка эстетической автономии: исторические формы издания и распространения литературы.
  - 3.5.2. Системы социальной поддержки.
  - 3.5.3. Системы социального контроля.
  - 3.5.4. Специализированные институциональные посредники.
    - 3.5.4.1. Библиотека.
      - 3.5.4.1.1. Исторические типы библиотек.
      - 3.5.4.1.2. Внутренняя структура института.
      - 3.5.4.1.3. Социальные функции библиотеки.
      - 3.5.4.1.4. Абоненты библиотек.
      - 3.5.4.1.5. Социальная роль библиотекаря.
  - 3.5.5. Другие посредники (журнал, школа и т. п.).
  - 3.5.6. Литература и социальное изменение. Социальный институт литературы и другие подсистемы общества.

#### **4. Литературная культура. Обобщенные образцы поведения в рамках литературной системы**

- 4.1. Общие работы.
- 4.2. Литература и другие подсистемы культуры.
- 4.3. Литература и долитературная традиция.
- 4.4. Литературная традиция и инновация. Проблемы рутинизации литературной системы.
- 4.5. Писатель. Компоненты и культурные образцы роли. Структура литературного авторитета.
  - 4.5.1. Гений и эпигон.
  - 4.5.2. Любитель, дилетант, профессионал.
  - 4.5.3. Свободный и институционализированный художник.
- 4.6. Нормативные экспектации публики (вкус, критерии оценки и т. п.).
- 4.7. Издатель: культурные компоненты роли.
- 4.8. Критик: культурные компоненты роли.
- 4.9. Литературные течения и группировки.
- 4.10. Литература как критика общества.
- 4.11. Рецепция и интерпретация образца.

#### **5. Произведение как способ культурной тематизации социальных значений**

- 5.1. Общие работы.
- 5.2. Ценностно-нормативная структура тематизируемого значения. Виды значений.
  - 5.2.1. Представления о социальном порядке. Условия его легитимности.
    - 5.2.1.1. Формулы анализа тематизируемых значений социального порядка.
  - 5.2.2. Формы органической общности как символы идентичности. Идеологические импликации.
    - 5.2.2.1. Нация.
      - 5.2.2.1.1. Формулы анализа значений национального.
    - 5.2.2.2. Структура первичных общностей и их компоненты.
      - 5.2.2.2.1. Семья.
      - 5.2.2.2.2. Половые роли.
        - 5.2.2.2.2.1. Формулы анализа значений семьи и любви.
    - 5.2.2.3. Возрастные определения.
  - 5.2.3. Тематизация социального изменения (индустриализация и т. д.).
    - 5.2.3.1. Символы старого и нового порядка (деревня–город).
  - 5.2.4. Границы социально-культурной идентичности: маргинал.
  - 5.2.5. Война: типы значений и формы их анализа.
  - 5.2.6. Специализированные институты.
    - 5.2.6.1. Экономика. Деньги. Предприниматель как носитель социального изменения.
    - 5.2.6.2. Наука. Ученый.
    - 5.2.6.3. Право. Судья.
    - 5.2.6.4. Школа. Учитель.
  - 5.2.7. Религия: проблемы фундаментальных ценностей.
  - 5.2.8. Предельные ценности: проблематика конечности человеческого существования.
  - 5.2.9. Проблемы личной идентичности и типы нормативной референции и самоопределения.
  - 5.2.10. Насилие: импликация культурных значений.
- 5.3. Способы репрезентации тематизируемых значений.
  - 5.3.1. Структуры и формы определения реальности.
    - 5.3.1.1. Пространство и время как социокультурные координаты организации текстовых значений.
      - 5.3.1.2. Внутритекстовые инстанции упорядочения тематизируемых значений. Направленность и модальность авторских интенций.
        - 5.3.1.2.1. «Имплицитный» автор (рассказчик и т. д.).
        - 5.3.1.2.2. «Имплицитный» читатель.
        - 5.3.1.2.3. Действующие лица. Характер и типы мотивации (причинность, случайность, судьба и т. п.).
    - 5.3.2. Типы организации текста и формулы их анализа (жанры и пр.).
      - 5.3.2.1. Общие работы.
      - 5.3.2.2. Отдельные жанры и формулы.
        - 5.3.2.2.1. Роман. Генезис и культурное значение жанра.
          - 5.3.2.2.1.1. Плутовской роман.
          - 5.3.2.2.1.2. Роман воспитания.
          - 5.3.2.2.1.3. Исторический роман.
          - 5.3.2.2.1.4. Экзотический роман.
        - 5.3.2.2.2. Трагедия.
        - 5.3.2.2.3. Драма.
        - 5.3.2.2.4. Комедия.
        - 5.3.2.2.5. Мелодрама.

5.3.2.2.6. Пастораль.

5.3.2.2.7. Научная фантастика.

5.3.2.2.8. Детектив.

5.3.2.2.9. Песня.

5.4. Экспрессивная техника конституирования ценностных значений.

## 6. Литература как средство социализации

Мы исходили из того, что литература как ценность, как высокозначимая в определенных группах общества возможность представления в условной форме социальных отношений (переживаний, конфликтов, описаний душевных состояний, характеров, событий и проч.) притягивает или стягивает самые разные социальные структуры – от экономики (как обмена ценностями, аффектами) или власти (авторитета) до способностей воображения, необходимого для понимания действий другого в ситуациях высокой неопределенности и непредсказуемости или иррациональности исторического процесса. Литературоведение в любой форме такого знания дать не могло и даже не признавало необходимости или возможности этого<sup>7</sup>. В своем рафинированном виде теория литературы (как бы ни различались ее версии) быстро сводилась к той или иной истории литературы, после чего распадалась на описание и толкование отдельных авторов или их произведений.

Это была общая, то есть коллективная, работа. Говоря «мы», я имею в виду всю нашу тогдашнюю группу в Секторе книги и чтения (а затем – и в Книжной палате, где мы еще какое-то время продолжали заниматься этими темами): С. Шведов начал детально заниматься образцами социализации в учебниках русского языка и литературы для младших классов, Н. Зоркая – теоретико-методологическим анализом рецептивной эстетики (преимущественно Х. П. Яуссом и В. Изером)<sup>8</sup>. Никто из нас по отдельности не мог такую работу проделать без постоянных обсуждений и споров. Поэтому в качестве ее соучастников надо назвать А. Левинсона, а среди оппонентов – М. Чудакову, участников Тыняновских чтений и других, в том числе и тогдашних социологов, кто, как, например, В. Шляпентох, отрицал возможность перевода литературных значений в социологические понятия, что заставляло нас искать ответы на самые разные теоретические, методологические и содержательные вопросы (как это всегда бывает, когда дело касается новой дисциплинарной парадигмы).

Надо было одновременно решать несколько задач:

1) описать полную структуру самого социального института литературы и его редуцированные варианты (производство текстов, их распространение, цензура и контроль над их обращением, описание механизмов отбора, оценки и передачи от группы «создателей» к реципиентам, хранение того, что считается достойным или важным, необходимым в качестве «литературы» и т. п.);

2) описать траекторию литературной социализации – «спуска» литературного произведения от элиты (группы создателей и первого прочтения) в низовые слои читателей, сопровождающегося банализацией трактовок, упрощением и переинтерпретациями текста; обучение

---

<sup>7</sup> Жесткость литературоведческой парадигмы очень медленно ослабляется, но не за счет социологии или истории, а за счет методологически более аморфной сферы «культурологии», позволяющей сочетать литературный материал с элементами других дисциплин, используемых в качестве направляющих внимание исследователя или как схемы объяснения.

<sup>8</sup> Последняя работа, которую мы начали, но не доделали (особенность ситуации перестройки, когда надо было бороться с Госкомиздатом), предполагала задачу: отследить, как цензурная политика 1920–1930-х годов отражалась на выборе издательств для авторов, составивших золотой фонд литературы Серебряного века и раннего периода советской литературы. С помощью А. Гнедковой мы собрали картотеку издательств и знаменитых авторов, которые проходили через частные и кооперативные издательства, поскольку госиздательства тогда гнали два вида книжной продукции: классику и агитпроповскую, идеологически правильную литературу. Но до конца эту работу не довели, поскольку уже не было времени и наше пребывание в Книжной палате заканчивалось. А в июне 1988 года мы ушли к Ю. Леваде в только что основанный ВЦИОМ. А там пошла уже совсем другая жизнь и надо было заниматься уже совсем другими горячими проблемами.

литературе – техники литературной социализации в школах и социализации через литературу, ставшие в конце XIX и в XX веке основой для идеологического импринтинга масс и самих процессов массовизации;

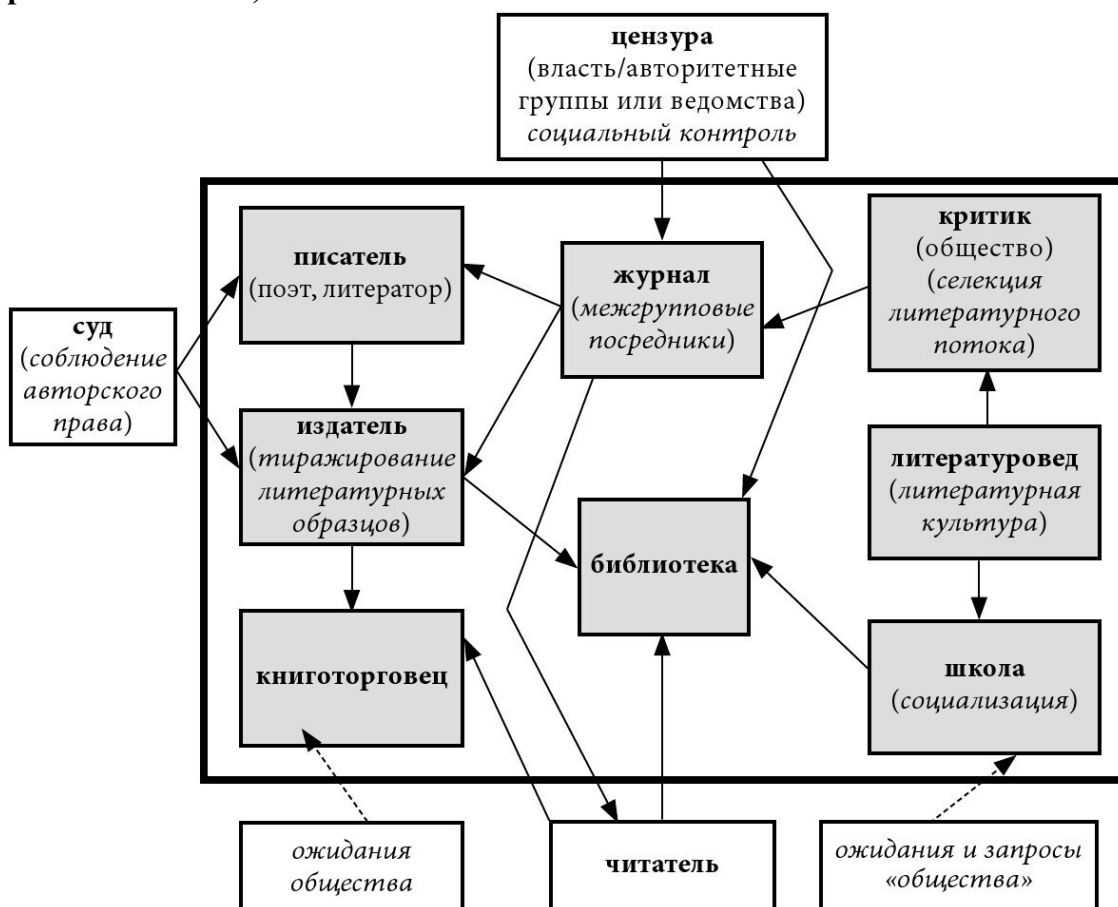
3) описать проблематику литературной культуры (структуру литературных авторитетов, придающих устойчивость организации литературы, типы поэтики, соотношенной с самоидентичностью разных групп производителей текстов и их потребителей, устойчивые конфигурации и композиции литературных приемов и конструкций, определяющих читательское опознание своих или «интересных» для читателей книг и текстов, – формульные структуры текста) и ее динамику – регулярную смену наборов авторов и авторитетов; и, наконец,

4) анализ тех семантических структур, которые образуют «смысл» литературных артефактов – возможность понимания социальных действий (или их компонентов), представленных теми или иными метафорическими образованиями или их составляющими: типами и функциями «визуальности», времени, point of view, субъективности, воображаемого пространства и т. п.

Первый вариант нашего теоретического подхода был представлен в качестве теоретического «Введения» к названному библиографическому указателю по социологии литературы. Но по «техническим» причинам оно было снято, а то предисловие, которое осталось, не давало представления о концептуальных возможностях нового подхода.

Общая модель института может выглядеть примерно таким образом (схема 1).

**Схема 1. Литература как социальный институт (структурно-функциональная или ролевая система)**



В основу схемы была положена структурно-функциональная парадигма AGIL (адаптация – целедостижение – интеграция – поддержание или сохранение образца) Т. Парсонса,

поскольку она представляет собой не *теорию* отдельного или исторически конкретного общества, а методически определенный, теоретический *язык* описания и анализа реальности. Расшифровывая этот подход для литераторов: литература как социальный институт есть устойчивая, то есть воспроизводящаяся во времени вне зависимости от личного состава участников взаимодействия или их поколенческой смены, совокупность ценностей, норм, социальных ролей, а значит – коллективных организаций. Институционализация этого взаимодействия должна

а) отвечать своей основной *функции* (заданной ее целевым предназначением – производить *тексты* для чтения;

б) *взаимодействовать со средой* – получать за это ресурсы в виде той или иной gratification и поддержки – *аффективного признания значимости доставленных читателю переживаний, мыслей, возможностей воображения*, или – *экономического вознаграждения*, а также – наделяния писателя социальным авторитетом, влиянием, статусом и т. п.);

в) *сохранять свою структуру* – порядок взаимодействия разных действующих субъектов, включая группы и организации; порядок, закрепленный и поддерживаемый правом и соответствующими институтами (законами, судом, юристами), наконец,

г) *обеспечивать свою целостность* (путем социализации новых поколений или социальных групп к литературе, а значит – через обучение в школах, университетах, посредством домашнего воспитания, что предполагает наличие «фондов памяти» – библиотек, курсов истории литературы и т. п.).

Структурно-функциональный принцип рассмотрения эмпирического материала предполагает, что каждый функциональный узел этого института может быть в свою очередь описан через выделение таких же структурно-функциональных звеньев или подсистем<sup>9</sup>.

Но это полная схема социальных коммуникаций, образующихся вокруг ценностей «литературы», соответственно структурированных социальными ожиданиями (читателей и писателей, издателей, учителей, цензоров, критиков и других акторов) появления или наличия текстов с эстетическими свойствами, условного, экспрессивно-символического характера. Нетрудно представить себе усеченные, неразвитые или редуцированные по тем или иным причинам формы таких отношений: литературу «без писателя» (жестко ритуализированная система обращения канонических текстов – фольклорные записи, священные сочинения); литературу без книготорговца (существующую благодаря меценатству или подписке, государственно-идеологические издания, самиздат, кружок любителей); литературу без литературоведа, критики или библиотеки (газетные, «бульварные» романы-фельетоны, интернетовскую, любительскую или графоманскую), литературу без издателя (литературный салон) и т. п. Важно осознать, что каждое изменение конфигурации социальных взаимодействий в этом плане означает не только другую читательскую адресацию, но и изменение поэтики, интерпретации текстов, структуры авторов и многое другое, то есть другую *структуру* самого «института» литературы.

Другая линия анализа открывалась с описанием динамики литературного процесса (как динамики литературной культуры, так и динамики литературной социализации): передача литературных образцов от группы создателей (или первых публикаторов, группы «первого прочтения»), обладающих в идеале самым широким горизонтом истории и многообразием литературных явлений и способов их интерпретации, к группам реципиентов (ориентирующихся на них, но профессионально «не занятых в литературе» или «не занятых литературой», однако

---

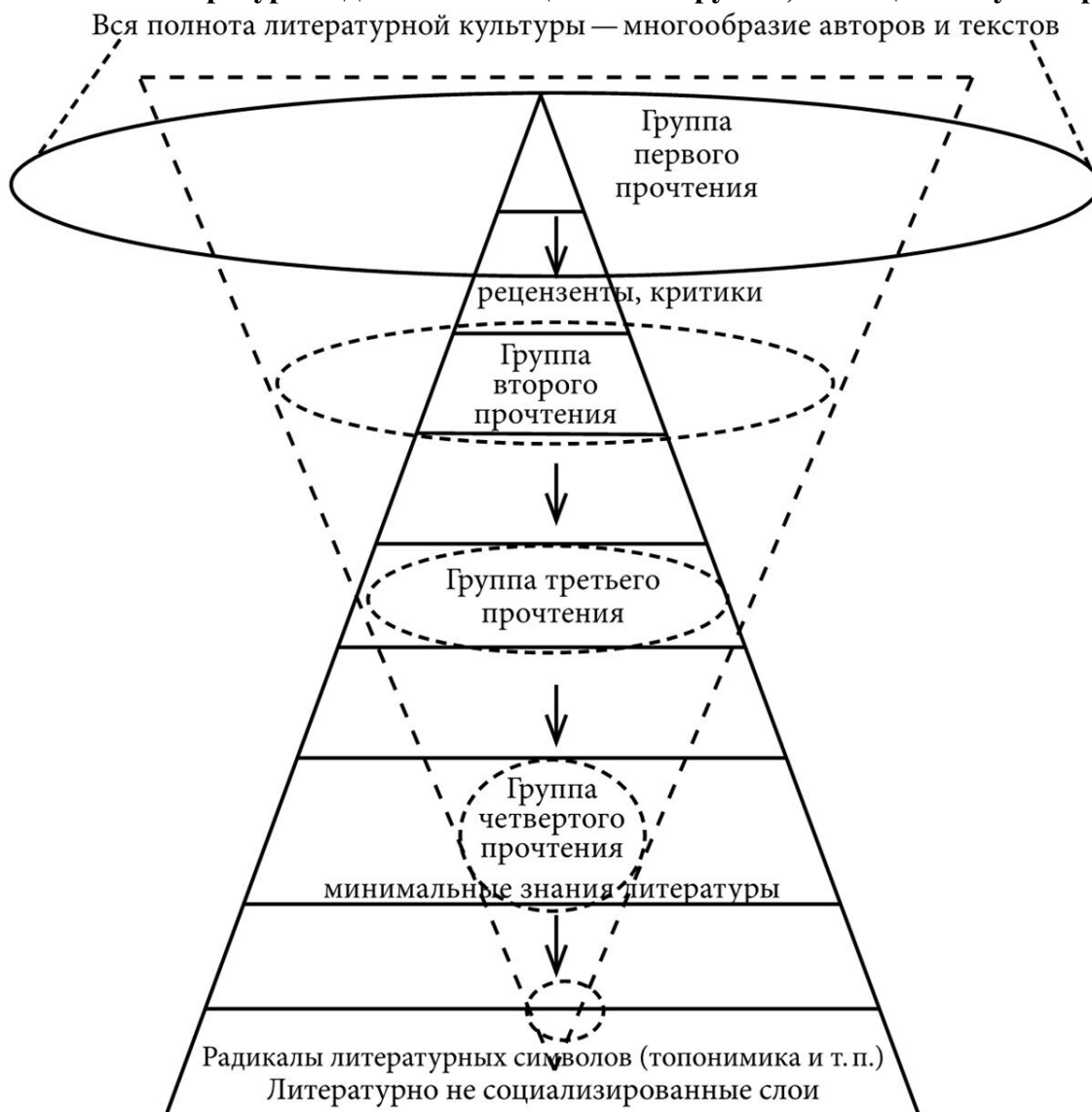
<sup>9</sup> См., например: *Карпидетт П.* Очерки про социологии библиотеки (реферат) // Библиотека и чтение: проблемы и исследования. СПб., 1995. С. 157–187 (подготовленный Н. Зоркой перевод первой главы этой книги был позднее опубликован: НЛО. 2005. № 74. С. 87–120).



обладающих достаточным культурным ресурсом, рефлексивными навыками и воображением, чтобы оценить то, что предлагают группы первого прочтения.

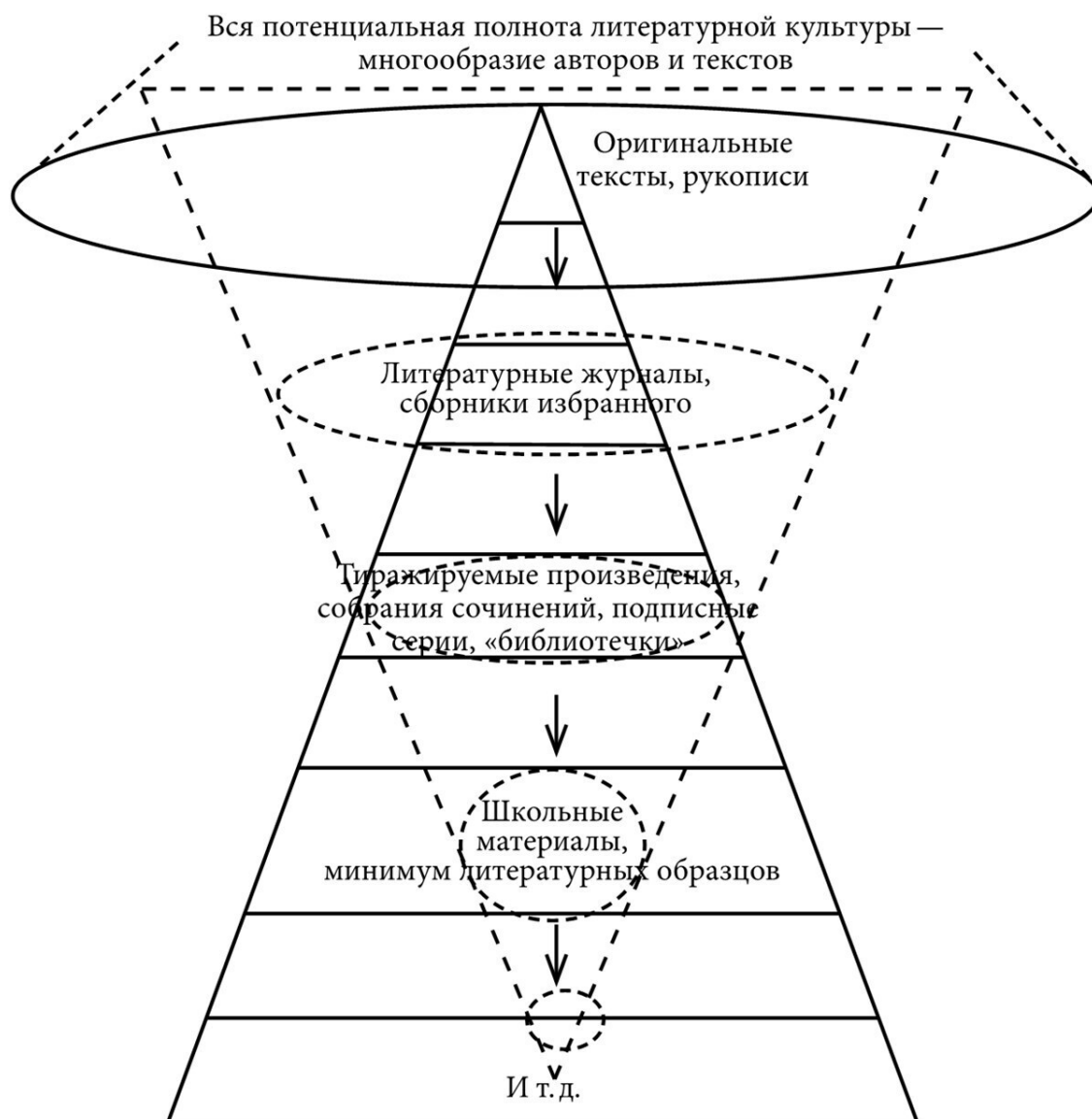
Понятно, что диапазон знаний о литературе условной группы «второго прочтения» будет более ограниченным, нежели у первой. Изменятся и формы репрезентации текстов – это уже не рукописи или первые издания, а тиражируемые, воспроизводимые в другой форме произведения (журнал, который структурирует аудиторию самим фактом регулярного поступления новых произведений, отдельное книжное издание, жанровые антологии, сборники разных авторов и проч.).

**Схема 2. Литературная динамика: социальные группы, селекция и спуск образца**



Еще более ограниченными ресурсами обладают группы «третьего прочтения», которые ориентируются на готовые, отмеченные другими социальными инстанциями (СМИ, модой, референтными группами – коллегами, «поп-звездами») формы представления литературы – «избранное», собрание сочинений, «серии» и т. п.

**Схема 3. Литературная динамика: селекция, формы литературных текстов и спуск образца**



И так вплоть до полной тривиализации литературного содержания в школьном чтении (романы Дефо или Свифта в переложении для детей, хрестоматии для чтения) и т. п.

Но последовательному упрощению понимания литературности, экспрессивного качества текстов, банализации интерпретаций литературных образцов соответствует нарастание значимости их социального воздействия – тексты частично теряют свое качество индивидуального выражения, творческой фантазии или условности, превращаясь в иллюстрации символических событий «национальной истории», идеологически предписываемые образцы «социального» или «национального» характера, изображения антропологических типов, примеров социального поведения (героичности, предательства, народности) или решения конфликтных ситуаций, дающих стимулы для формирования социального воображения, а стало быть – играющих важнейшую роль в процессах массовой социализации новых поколений или аккультурации немодерных периферийных слоев общества, втягивания их в сферу письменной культуры, их модернизацию.

Моделью для описания этого процесса «спуска образца» стала для нас одна идея из работы А. Моля<sup>10</sup>, в которой прослеживаются изменения тематических мотивов в искус-

<sup>10</sup> Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.

стве (например, трансформации или рутинизации семантики золота как света вечной истины и божественной энергии в византийских иконах в элементы королевской эмблематики, эполеты парадного мундира или просто знаки «красивого» и «доброе» / «золотого как небо аи», «золотой души человек» / и вплоть до люрекса в женских кофточках или крапинок на обоях).

Дух рутинного литературоведения страшно мешал, поскольку исследовательская деятельность здесь мыслилась лишь как история литературы, что на практике означало разбивку всего материала литературного прошлого на отдельные золотиносные участки – именитых авторов, которых каждый «историк» литературы старался застолбить за собой и не пускать никого другого. Опасность конкуренции вела к тому, что любая новая идея или подход в этом сообществе вызвали скрытую агрессию и неприятие, блокировавшие способность к пониманию. Напротив, наша установка заключалась не в вытеснении или замене традиционного или какого-то более продвинутого варианта литературоведения, а в сочетании с ним, универсалистской надстройке над ним, открывающей другую плоскость рассмотрения – междисциплинарный анализ с привлечением ресурсов и методов возможностей других наук – от экономики до этнометодологии. Другими словами, мы стремились к тому, чтобы уйти от индивидуального копания в источниках и биографических деталях писательской судьбы и сделать исследования литературы коллективным предприятием, немислимым без кооперации разных ученых и обращения к ресурсам разных специальностей, так как это сегодня имеет место в других социально-гуманитарных дисциплинах или даже в экономике. (Трудно поверить, но еще в конце XIX – начале XX века даже экономика была скорее описательной наукой о нравах и ценностях и лишь затем стала тем, что она есть сегодня, – высокоформализованным статистическим анализом экономических систем и процессов.)

Очень важны здесь были наши постоянные дискуссии с Мариэттой Омаровной Чудаковой, выдвинутой из Отдела рукописей ГБЛ и на какое-то время получившей защиту и крышу у Валерии Дмитриевны Стельмах. В тот момент М. О. и А. П. Чудаковы вместе с Е. А. Тоддсом только что закончили свой знаменитый ПИЛК – том Тынянова<sup>11</sup>, который, по идее, как нам тогда казалось, должен был возродить или, по крайней мере, стимулировать дискуссии о теории литературы, начатые опоязовцами и русскими формалистами. Именно благодаря жестким спорам с Чудаковой, а затем – опять же благодаря ей, позвавшей нас на Тыняновские чтения, лидером, вдохновителем и организатором которых она стала, мы обязаны расширением и углублением наших знаний о концепциях литературоведения<sup>12</sup>. Часть работ, которые мы тогда представляли на этой конференции (мы были на первых четырех), я включил в настоящее издание.

Несколько слов для понимания первых, более ранних, кажущихся нарочито усложненными текстов. Сразу скажу – этой нарочитости не было (даже если у нас иногда и возникало желание немного подразнить историков литературы<sup>13</sup>). В них постоянно, с некоторой даже избыточностью встречаются понятия «нормативный», «ценности», «институт». Их употребление было связано с внутренней необходимостью всякий раз иметь перед глазами схему социального института. Социальный институт (не следует путать, как часто это имеет место, с социальной организацией) в теории представляет собой устойчивую систему взаимодействия действующих индивидов и групп, складывающихся вокруг определенных «ценностей» (предельных, в смысле несводимых к каким-то другим основаниям или представлениям, в этом смысле – трансцендентных, представлений о благе, общей идее, которая играет регулятив-

<sup>11</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

<sup>12</sup> Для меня ее человеческое участие и поддержка в самый безнадежный период брежневского застоя (как и ее оптимизм и бойцовский характер) оказались крайне важными, о чем я никогда не забуду.

<sup>13</sup> Вообще надо признать, что (хотя читатель вряд это почувствует) книжка пронизана внутренним смехом, она вся построена на скрытой полемике с теми, кто для нас представлял рутину догматического мышления. Без этого веселья работа бы не шла, особенно в условиях беспросветной серости начала 1980-х годов.

ную роль в отношениях людей, не обладая при этом силой внешнего предписания, а являясь лишь образцом для морального или эстетического подражания). В зависимости от теоретического подхода эта система взаимодействия может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных социальных ролей, распределение которых и образует «институт», либо как устойчивые, регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия. Сама устойчивость этого рода может задаваться и поддерживаться не столько взаимными «интересами» (это грозит кратковременностью неупорядоченных или конвенциональных, договорных взаимоотношений), сколько определенными правилами поведения, которые в свою очередь должны поддерживаться тем или иным видом «права» (обычным правом, традицией, ритуалом, церемониями либо формальными, то есть кодифицированными, рационализированными и письменно закрепленными «законами», «актами», инструкциями, «конвенциями» и т. п., гарантированными другими институтами – судом, полицией, сообществом и проч.). Отдельный элемент этих упорядоченных взаимодействий (все равно, идет ли речь о социальных ролях – социологической парадигме, восходящей к шекспировской идее «мир как театр», а мы лишь марионетки богов или актеры, разыгрывающие написанный не нами спектакль, или о социальных взаимодействиях в смысле подхода Макса Вебера) составляет понятие «нормы», правила поведения, предполагающее *определенное толкование и понимание «ценности»*, но, в отличие от ценности, заданное и неотделимое от различных коллективных санкций, спектр которых может быть очень широким, в зависимости от характера нарушения нормы и жесткости самого коллектива (от усмешки над маргиналом и чужаком, не знающим, как себя вести в приличном обществе («...и молча обведенный взор ему был общий приговор»), до изгнания из группы, обструкции, изоляции от доступа к благам или даже смертной казни). Сами по себе ценности не могут быть предметно, зримо выраженными (что такое добро, красота, свобода, любовь, не может быть однозначно определено в качестве безусловных предписаний и требований к каждому держаться только такой версии или канона понимания), они являются субъективными регуляторами, значимость которых осознает лишь сам субъект действия (например, в виде угрызений совести или «веры как уверенности в невидимом» и т. п.). Поэтому по степени дифференцированности норм и проявления субъективной саморегуляции (личной ответственности, свободы убеждений и следования своим принципам и проч.) можно судить о сложности, то есть дифференцированности, социальной системы общества, когда индивид сам должен выбирать из множества различных групповых императивов и требований то, чем он будет руководствоваться в различных жизненных ситуациях. Именно эти моменты (ценностно-ролевые или ценностные коллизии, конфликты нормативных ожиданий и предписаний), не проявляющиеся в рутине повседневных отношений, и воспроизводит художественная литература или искусство в целом.

Поэтому решение первой задачи – как фиксировать в литературных или киношных актах взаимодействия героев обстоятельства, порождающие нормативные конфликты, – оказывается условием социологического анализа эстетических явлений, все равно, будь то парадоксальные формы Магритта, шок от диссонанса, несоответствия видимого нашим априорным установкам восприятия материальности и времени (как это имеет место в «Терминаторе») или метафоры поэтического языка. Но именно возможность «снятия» (интерпретации этих коллизий) означает рождение новых смыслов, закрепляемых в социальных репертуарах «значений», которые мы придаем типовым ситуациям взаимоотношений с Другими, будь то люди или наши объективированные и субстантивированные состояния («...беды скучают без нас»). Решению этих концептуальных проблем мне пришлось отдать 7 лет, завершив к концу 1986 года их изложение в «Метафоре»<sup>14</sup>. С социологической точки зрения теперь стало возможным рассматривать различные виды метафоры как варианты логических структур и механизмов смыслообразования для разных типов социального действия. Благодаря этому ходу появилась возможность

<sup>14</sup> Гудков Л. Д. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М., 1994.

переводить семантику литературных явлений в конструкции социального действия и их элементы (нормы, ценности, роли, санкции и т. п.).

Другой, столь же принципиально важной проблемой была «классика» как динамичная система литературных авторитетов, придающая целостность, то есть интегрированность и организованность, литературной культуре. Ею вплотную занялся Борис с помощью наших коллег – А. Рейтблата и Н. Зоркой. Я считаю это направление исследований самым перспективным в парадигме социологии литературы и, более того, – самой истории литературы. Толчком к этим разработкам послужила книга шведского социолога К. Розенгрена<sup>15</sup>, но важно, что Дубин и Рейтблат радикально изменили сам подход к измерениям литературных авторитетов. Если у Розенгрена было всего два замера, то Дубин и Рейтблат проделали очень большую и трудоемкую работу по фиксации в журнальных отзывах и рецензиях «эталонных» авторов, с которыми сравнивались новые писательские имена, с 1820-х по 1970-е годы. Систематические замеры динамики литературных авторитетов (писателей, поэтов, которые выступали в функции «образца» для оценки других) позволили увидеть ритмы литературной системы, то периодическое увеличение объема авторов в периоды быстрого развития общества и его открытости миру, то, напротив, сужение канонических авторов, когда общество и, соответственно, литература впадают в состояние окостенелости, жесткости, авторитарной и консервативной дидактики, понимать, почему это происходит, связать эти процессы с влиянием общественных факторов и сил, исторических обстоятельств. Это давало перспективу наконец-то оторваться от привязки литературоведа к конкретному имени, увидеть закономерности в движении литературных образцов, то есть перейти к методам генерализованного анализа литературы как целого (что не отменяло, естественно, значимости каждого идеографического факта)<sup>16</sup>. Но это принципиальное достижение осталось без внимания и понимания нашей ученой публикой.

Отчасти здесь мы и сами виноваты, поскольку не озаботились тем, как другие читатели будут воспринимать непривычный характер подобной работы, необходимостью сделать доступным сам метод. Борис позже учел это обстоятельство и многое сделал для популяризации общего подхода, хотя, к сожалению, это уже не касалось основных идей социологии литературы и ее подсистем.

Если бы не перестройка, то мы, наверное, довели бы наши разработки до какого-то более или менее целостного вида. В последние годы советской власти мы были заняты уже более практическими вопросами: анализом последствий государственной политики книгоиздания, интеллектуальной слабостью интеллигенции, национализмом, кризисом тоталитарного сознания и т. п. вещами. Литература постепенно отходила на второй план<sup>17</sup>.

После развала советской системы начались быстрый процесс введения в научный и публицистический оборот того, что уже было накоплено ранее, его институционализация, профессиональная дифференциация и вполне логичная специализация. Потребность в «общих вопросах» исчезла. Никто уже не ставил задачи соединения разных дисциплин и не собирался соединять их с экзистенциальными проблемами своего жизненного выбора.

<sup>15</sup> *Rosengreen K. E. Sociological aspects of literary system. Stockholm, 1968.*

<sup>16</sup> Дубин Б., Рейтблат А. О структуре и динамике системы литературных ориентаций журнальных рецензентов (1920–1878) // Книга и чтение в зеркале социологии. М., 1990; *Они же*. Литературные ориентиры современных журнальных рецензентов // НЛЮ. 2003. № 59. С. 557–570; Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом. М., 1983. С. 40–82; Дубин Б. В. Словесность классическая и массовая: литература как идеология и литература как цивилизация // Дубин Б. В. Очерки по социологии культуры. М., 2017. См. развитие этого подхода в статье: *Reitblat A. The Making of the Russian Classic // Publishing in Tsarist Russia: A History of Print Media from Enlightenment to Revolution / Ed. Yukiko Tatsumi and Taro Tsurumi. L., 2020. P. 37–68.*

<sup>17</sup> В некотором плане продолжением этого проекта оказались уже не разработки по социологии литературы, а более развернутый импровизационный курс лекций по социологии культуры, которые мы с Б. Дубиным начали читать в 1993 или в 1994 году в Школе современного искусства, куда нас позвал Е. Барабанов, а потом продолжали читать много лет в Институте европейских культур при РГГУ. Впрочем, готовых следовать нашим «путем» к социологии среди студентов не оказалось.

Разрабатываемая «идея спуска образца» как циклического процесса социализации общества через введение новых смыслов и значений, новых образцов человеческого поведения, тематизации конфликтов и т. п. внутренне соотносилась нами с предполагаемой функцией элиты, задачей или «миссией» интеллигенции в обществе, как мы ее тогда понимали. Согласно этой логике, производимые «группами первого прочтения» образцы затем принимались нижестоящими слоями читателей, которые в усеченном и тривиализированном виде передавали эти значения более широким, но менее образованным и в культурном смысле статичным, непродуктивным слоям, те – в свою очередь другим группам или детям и т. д., пока образец окончательно не терял свою связь с литературой (по схеме: «А платить кто будет, Пушкин?»). Предполагалось, что такие механизмы циклического продвижения смысловых, тематических ценностных образцов действия, чувствования, видения обеспечивают единство культуры общества, а сами образцы, проходя через всю толщу «общества», циклическим образом интегрируют его, насыщая его новыми идеями и нормами отношений. Пока образец проходит средние уровни социальной структуры, на верхних этажах появляются уже новые образцы, вытесняющие предшествующие новации, то есть запускающие схожие механизмы обновления, какие имеют место в непрерывном процессе «моды».

Расширение читательской аудитории, которое мы наблюдали в 1970–1980-х годах, можно было отождествлять не только с ростом образования, присвоением образцов городской культуры, но и с постепенным приобщением к более гуманным и либеральным, нетоталитарным формам сознания и мышления. Отчасти это подтверждалось нашими наблюдениями над динамикой аудитории журналов, особенно – в национальных республиках, где под прикрытием языка национальные элиты формировали общественные ресурсы для предстоящей эмансипации от имперского центра, равно как и ростом и усложнением сети и структуры самиздата (за четверть века эти сети, включавшие на первых порах несколько сотен или тысяч читателей, втянули в себя к началу 80-х годов, по нашим подсчетам, несколько миллионов пользователей, что принципиально изменило их структуру; можно было видеть в них прообраз интернета).

Но должен признаться: наша гипотеза – спуск образца будет работать как модернизационный эскалатор или механизм эрозии и трансформации тоталитарного социума – оказалась нежизнеспособной. Поправлюсь: она не то чтобы в принципе неверна, нет, но она оказалась иллюзорной в условиях распада прежней институциональной системы. В открытом и либеральном западном обществе со свободной конкуренцией различных элит, обеспечиваемой дифференцированными институтами – политическими, правовыми, экономическими, гражданского общества и т. п., эта схема вполне применима, у нас – нет. Почему? Что не так?

Журнальный бум 1987–1991 годов, связанный с публикацией ранее запрещенных произведений, убил основу организации литературной системы: литературную критику как механизм отбора важного, значимого, интересного с точки зрения общественной жизни или ценности литературных новаций. Поток давно признанных и авторитетных авторов задвинул на задний план молодых писателей и поэтов, сделав ненужными критиков, которым в этой ситуации было нечего сказать, оставив «пропущенным» целое поколение литературных действующих лиц. Механизм разметки литературного потока при отсутствии должных интерпретаций «отражений в литературе» разрушился и не мог быть восстановим в обозримом будущем. Этот удар оказался настолько сильным, что сама по себе литература (после того, как ресурсы запретных авторов исчерпались) утратила всякую значимость в глазах общества. Тиражи, вслед за обмелением читательской аудитории, очень быстро упали до уровня конца 19 века, начала модернизации России. Внешние слои литературной системы (условные группы «третьего прочтения») отпали, число читающих сократилось в несколько раз в сравнении с концом 1980-х годов (и это при том, что степень издательского предложения – число изданий – выросла в два с лишним раза). Этого не было бы, если бы у интеллигенции в лице публицистов, критиков, писателей было бы что сказать людям. Но у нее за душой не было ни новых идей, ни особых

культурных ресурсов, моральных принципов или представлений о том, что можно и что надо делать в этих условиях краха системы.

Разреженное интеллектуальное пространство начало заполняться поднимающимися со всех сторон эпигонами, имитаторами. Главным героем нашего времени оказался социальный тип универсального потребителя и беспринципного авантюриста, лучше всего представленного в книге П. Авена в виде коллективного портрета Б. Березовского (или же опять – в виде коллективного автопортрета производителей российских медиапродуктов)<sup>18</sup>. «Наглость есть ложно понятое величие» (Сенека). Но в варианте многократного уменьшения этот социальный тип распространился практически повсеместно, вытеснив и прежнего партийно-комсомольского функционера, и считающего себя идеалистом, но, по сути, приспособленца – советского интеллигента (бюрократию образования и управления), и другие базовые типы личности советской системы. Эклектика и мелкое эпигонство стали основным тоном в гуманитарных науках. По сути, проступила та же жизненная стратегия, которую команда Левады описывала как «понижающий трансформатор» или «пассивную» адаптацию к репрессивному государству, характерную для всего российского социума. Внешне это могло проявляться стилизацией как под православное русофильство, так и под западный постмодернизм. Но, по сути (по структуре мышления), это был один и тот же тип зависимого сознания, «слабого Я», как говорят психоаналитики, «извне направляемого» человека (out directed man). Внутреннее чувство личной несостоятельности компенсировалось претенциозностью («креативностью»), стилем и образом жизни «как в нормальных странах» («модерностью») либо присоединением к новым вариантам старых идеологий (государственного национализма, православия, «позитивного мышления» и проч.)<sup>19</sup>.

Именно этот тип «понижающей адаптации» стал доминировать в посттоталитарном обществе. Для его описания модель «спуска образца» (опирающаяся на посылку наличия и деятельности многообразных, автономных и функционально продуктивных элит) не годилась. Другой социальный тип начал занимать социальные позиции в обществе, науке и культуре. Мы довольно рано зафиксировали начало этого тренда, но тогда еще не представляли себе его перспективы и масштабов расползания этого социального типа<sup>20</sup>.

Не слишком успешными были и попытки вовлечь в нашу социологическую работу молодых исследователей – слушателей наших лекций<sup>21</sup>. Безусловно, тематическое и методическое поле изучения и описания разнообразных явлений культуры стало несравнимо более широким и менее догматическим, чем это было в 1970–1980-е годы. Но в целом разработки нового поколения оказались в рамках общего адаптивного тренда, может быть, мы здесь были неадекватны или наши ожидания были несколько завышенными. Но так или иначе, внутренняя связь разработок по социологии литературы с трансформацией тоталитарного человека прервалась.

<sup>18</sup> Авен П. Время Березовского. М., 2018; История русских медиа 1989–2011. Версия «Афиши». М., 2011. Появление подобных социальных персонажей когда-то предсказывали Стругацкие в своей повести «Понедельник начинается в субботу» (кадавр, который «хочет и может», а «его потребности постоянно растут»), но то, что этот тип будет такой же символической фигурой эпохи, как предприниматель или инженер в эпоху грядущего, вряд ли кто-то мог предполагать.

<sup>19</sup> Гудков Л., Дубин Б. Своеобразие русского национализма // Pro et Contra. 2005. № 2(29). С. 6–24; Гудков Л. Идеологема врага: «враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // Образ врага. М.: ОГИ, 2005. С. 7–80.

<sup>20</sup> Гудков Л., Дубин Б. Уже устали? Социологические заметки о литературе и обществе // Литературное обозрение. 1991. № 9. С. 97–99; Гудков Л. Кризис интеллигенции и массовое чтение // Библиотека. 1996. № 11. С. 4–7; Он же. Массовая литература как проблема. Для кого? Раздраженные заметки человека со стороны // НЛО. 1996. № 22. С. 78–100; Он же. Амбиции и рессентимент идеологического провинциализма. [По поводу книги И. А. Есаулова «Категория соборности в русской литературе»] // НЛО. 1998. № 31. С. 353–371; Гудков Л., Дубин Б. Раздвоение ножа в ножницы, или Диалектика желания (О работе А. Эткинда. «Новый историзм, русская версия») // НЛО. 2001. № 46. С. 78–102; Он же. Конец 90-х: затухание образов // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 2001. № 1. С. 15–30.

<sup>21</sup> Гудков Л., Дубин Б. Молодые «культурологи» на подступах к современности // НЛО. 2001. № 50. С. 147–167. Аркадий Перлов подтвердил эти соображения, выступая на круглом столе, посвященном памяти Б. Дубина (см.: Каспэ И., Самутина Н., Степанов Б. «Круглый стол» «Работая с текстами Дубина: проект социологии культуры глазами учеников и коллег» // НЛО. 2015. № 132. С. 437).

Для понимания нынешней ситуации в литературе нужны новые концептуальные инструменты, прежние утратили часть своей дескриптивной и интерпретационной способности. Симптомом этого стала явная неудача нашего последнего большого проекта по описанию современного литературного процесса, который мы провели при поддержке Фонда Михаила Прохорова в 2010–2012 годах. Все формально необходимые и предусмотренные техническим заданием проекта работы были сделаны (проведены опросы читателей, взяты интервью у критиков, литературоведов, школьных учителей, писателей, издателей, библиотекарей), но неожиданно выявились полная неспособность основных действующих лиц нынешнего литературного процесса к артикуляции своих проблем, их беспомощность в диагностике положения в литературе и в обществе. Другими словами, «акторы» литературного процесса утратили ощущение своей значимости, функции, язык и проч. Это заключение парализовало нас. Прочитав огромное количество премиальных текстов, мы осознали, что нужны другие подходы и инструменты для объяснения не просто положения в современной литературе, а ситуации и морального состояния российского общества. Может быть, через какое-то время станет возможным вернуться к этому материалу и заново его осмыслить.

Завершает настоящее издание статья «Невозможность истории» из сборника в честь 75-летия В. Страды, отражающая наше состояние усиливающегося разочарования в интеллектуальной рутине и господствующем эпигонстве, связанных с утратой или стерилизацией интереса к настоящему, без которого ни социолог, ни антрополог, ни культуролог – если он исследователь, а не попугай – жить не может.

В заключение я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помогал мне в подготовке к изданию этой книги, кто читал и постоянно критически оценивал эти тексты: прежде всего моих коллег – Н. Зоркую, Е. Кочергину, А. Рысеву, мою жену В. Гудкову и, конечно, А. Рейтблата, который был инициатором этого издания и без которого оно не появилось бы на свет. Последнее, что мне хочется сказать: моя искренняя признательность И. Д. Прохоровой за поддержку этой работы.



***Л. Гудков, Б. Дубин***  
***Литература как социальный институт***

**ОТ АВТОРОВ**

Статьи, собранные в этой книге, представляют собой части общего проекта социологии литературы как самостоятельной научной дисциплины, который авторы вместе с несколькими коллегами (Н. А. Зоркой, А. И. Рейтблатом и – ныне покойным – С. С. Шведовым) намечали в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. Ни один из этих текстов опубликован не был (единственное исключение – статья «Социальный процесс и литературные образцы», вышедшая в 1989 г. в сборнике «Массовый успех» тиражом 100 экземпляров); для нынешнего издания тексты не редактировались, сохранив стилистику тех лет.

Надо признать, что в социальных науках на Западе социология литературы не относится к тем областям исследований, которые отмечены оригинальными теоретическими идеями, крупными и авторитетными концептуальными разработками. При всем профессионализме, средний уровень которого остается для наших ученых труднодостижимым, это, скорее, сравнительно узкая по тематике периферия научной работы, переживавшая известное оживление лишь дважды – в переходных (в том числе – для самой социологии) ситуациях 1930-х и 1960-х гг. При развитой, дифференцированной системе организации научных исследований значительную часть литературных разработок принимали на себя те области знания, которые методически отличались от рутинного литературоведения той или иной особенностью, своей точкой зрения на материал. Это и позволяло отдельным исследователям ограничиваться чисто предметными проблемами, не слишком озадачивая себя соображениями теоретического и тем более – парадигмального плана.

Сложившийся спектр дисциплинарных направлений – истории культуры (причем разнообразных методологических школ – от феноменологии или структурализма до социальной либо экономической истории, психоистории, истории публики или рецепции), антропологии, символического интеракционизма, семиотики и др. – легко позволял тому или иному ученому находить себя в рамках предметного знания и идентифицироваться с выбранной дисциплинарной парадигмой. В этом научном ансамбле для социолога имела своя доля, на которой он мог, используя опыт и результаты других «наук о духе», прояснять особенности ролевой структуры литературной профессии, социального функционирования и бытования литературы или ее воздействия на общество (акцент делался в первую очередь на экспрессивно-символических потенциях и социализационных аспектах литературы как системы). Особой нужды для продумывания общедисциплинарных проблем социологии литературы не было.

Вопросы общетеоретического характера, проблемы социологии как науки решались на другом предметном материале – вокруг вопросов господства, социальной морфологии, стратификации, институциональной организации общества, трансформации социальных структур и проч. В самом широком смысле речь шла о крупномасштабном процессе перехода традиционных общественных систем к современному гражданскому обществу. Здесь и конкурировали различные концептуальные подходы, боролись и сменялись главные школы, отрабатывались ключевые идеи основоположников дисциплины, кристаллизовались ее традиции, образовывалась собственная история. Идеи и достижения социологии литературы в нее, в общем, не входили.

Кроме того, для более тонкой аналитической работы, связанной с изучением социально-культурных процессов, специфики и динамики значений самих символических систем

и семантических образований, то есть для социологии культуры в строгом смысле слова, вплоть до 1970-х гг. не было необходимого инструментария концептуального или теоретического толка (отдельные идеи социологии знания, социологии идеологии, феноменологической школы до этого времени подхвачены и развиты не были). Но еще и сейчас разработки в этом направлении – дело, скорее, завтрашнего дня, когда можно будет сказать, что тектонические изменения социальных структур в странах Запада, придавшие столь драматический характер истории XIX–XX вв., закончились или замедлились и социологу (если, конечно, у общества еще останется порох для собственно социологических занятий и штудий) пора заниматься «повседневностью» и ее структурами, а стало быть – и культурой как таковой. Соответственно, это потребует иных аналитических средств – разработки нового набора представлений о типах сложного социального действия (закрытого, смыслопорождающего, игрового и т. п.), которые существуют пока лишь в виде некоторых концептуальных идей и набросков, а не предметных описаний.

В нашей же стране само выражение «социология литературы» имеет крайне дурную репутацию, причем социология как таковая не может нести за это какую бы то ни было ответственность. Подобный казус не просто явное недоразумение, характерное для литературоведов, никогда не отрывающихся от своей тематической, точнее, персонажной грядки, – оно задано общим идеологическим контекстом первой трети столетия. Название «социологи» в начале века, а потом в 1930-х гг. присвоили себе отечественные марксисты – представители распространенного вульгарного экономического детерминизма, использовавшие его в ходе чисто идеологических разборок. «Классовый подход в литературе» стал средством выбивания из критики и преподавания представителей старого литературоведческого эклектизма, то есть основанием для кадровых чисток в академических структурах, редакциях журналов и др. К собственно науке, то есть технике сбора и интерпретации материала, это имело самое отдаленное отношение, тем более что и тогдашнее, и нынешнее литературоведение, как профессионально-академическое, так и расхоже-газетное, базируется на неявных, но столь же грубых и нерелексивных представлениях о человеческой природе, что и экономический детерминизм, и по-прежнему, то полубессознательно, а то лукавая или кокетничая, защищает невинность этой аксиоматики.

Поэтому сама задача создания или восстановления социологии литературы в наших условиях может на первый взгляд показаться странной. Подобный проект, родившийся в здешних социальных и культурных координатах, в специфической атмосфере безвременья конца 1970-х (кроме всего прочего, дававшей, при некотором желании, известные возможности для самостоятельной работы, знакомства с иностранной литературой), соединял в себе несколько вещей, притягивавших внимание авторов.

Первый и самый общий интерес – характер социального изменения, его человеческие или культурные потенции, особенности социальной динамики в нашей стране. В концептуальном плане исследования такого рода могли бы укладываться в рамки теории модернизации, или – по соображениям чисто прагматическим (слово «модернизация» было табуированным) – теории урбанизации, а конкретно – быть приложением к теоретическим разработкам Ю. А. Левады и его соавторов, недавно переизданным<sup>22</sup>. И по стечению обстоятельств, и по соображениям повышенной идеологической значимости литературы в России материалом для нашей работы послужили данные исследований чтения. Характер массового читательского спроса, при всех его тогдашних бюрократических деформациях, в соответствующих рамках рассмотрения давал определенные возможности судить о социально-культурных процессах в стране, динамике ценностей и интересов разных групп. Это был косвенный, но немаловаж-

<sup>22</sup> Левада Ю. А. Статьи по социологии. М., 1993.

ный источник, поскольку соответствующие социологические, статистические, социально-психологические исследования, надо сказать, практически отсутствовали или были «закрыты».

Реализация этой задачи потребовала понимания литературных фактов как фактов культуры, опосредующих взаимодействие между различными по статусу и роли социальными агентами. А это заставило отказаться от чисто литературоведческого (оценочного, «эстетического») подхода к литературным явлениям – выйти за пределы «высокой» литературы в область неконвенционального – популярного, тривиального, рыночного, формульного, китчевого и т. п. – словесного искусства, с одной стороны, и осознать сложность семантического состава культурного, т. е. образно-символического, материала, с другой. Помочь в работе с символическими структурами позволили подходы таких дисциплин, как герменевтика, рецептивная эстетика, культурология, культурантропология, экономика символического обмена, семиотика, социальная история, «история повседневности» и др. Наиболее трудную часть работы составляла переинтерпретация опыта этих дисциплин в языке собственно социологического описания и анализа, то есть интеграция их результатов в социологию.

Однако чисто «переводческой» деятельностью при этом ограничиться было нельзя, поскольку одновременно возникали проблемы теоретического порядка, уже в рамках собственно социологии – каково внутреннее устройство литературы как института, каков состав и набор основных ролей, групп, каким образом происходят их упорядочение и взаимосвязь и т. п. Релятивизация идеологических воззрений на литературу, парализовавших сегодняшнее полуживое литературоведение, потребовала обращения, во-первых, к опыту социальной истории, самих представлений о литературе и ее канонах, стандартах интерпретации и интеграции (авторитеты, клише, догмы, например, классики или писательской роли гения и др.), а во-вторых, к истории формирования современных литературных образований (подписка, гонорар, салон, журнал и его рецензионно-критическая деятельность, библиотека, литературная социализация – типы школы, учебники по литературе, языку, истории), равно как и к истории самих идей литературы и письменной словесности. В свою очередь, углубление в эту проблематику заставило резко расширить диапазон представлений об устройстве литературной системы и определяющих ее процессах, о движении литературных форм и многое другое.

Первым итогом этой работы стало появление своего рода эскиза или проблемной карты дисциплины, представленной в виде аннотированного библиографического указателя<sup>23</sup>. Так как в то время нельзя было и думать об издании систематического курса по социологии литературы (хотя уже очень хотелось), то нам пришлось каждую теоретическую или тематическую проблему представить в виде совокупности как бы уже существующих работ, проведенных исследователями самого разного плана, не обязательно социологами (позже пришлось оформлять это в виде рефератов зарубежных книг и статей<sup>24</sup>). Так или иначе, проблемное поле дисциплины было в этом указателе представлено с максимально возможной для нас на тот момент (конец 1980 г.) полнотой. Не зависящие от авторов обстоятельства вынудили пожертвовать ради проходимости всего целого примерно третью собранного материала, а также обзорным очерком, игравшим роль введения (этим очерком 1981 г. теперь открывается сборник).

В дальнейшем нам приходилось все в большей степени сосредоточиваться на выработке концептуальной системы социологии литературы, оставляя собственно содержательные анализы чтения на втором плане (работая в Секторе книги и чтения Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ), тогдашнем центре библиотечных исследований массо-

---

<sup>23</sup> Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Рейтблат А. И. Книга, чтение, библиотека: Зарубежные исследования по социологии литературы: аннотированный библиографический указатель за 1940–1980 гг. М., 1982; работа продолжена А. И. Рейтблатом, см.: Книга, чтение, библиотека: советские исследования по социологии чтения, литературы и библиотечного дела, 1965–1985. М., 1987 (в соавторстве с Т. М. Фроловой).

<sup>24</sup> Проблемы социологии литературы за рубежом: сб. обзоров и рефератов / Отв. ред. В. Д. Стельмах, Е. А. Цурганова. М., 1983.

вого чтения, а позднее – в Институте книги при Всесоюзной книжной палате, мы могли судить об устойчивости и организованности социальной системы литературы, поскольку стандарты массового вкуса, вопреки тому, что утверждалось интеллигентской литературной критикой и бюрократией от культуры, единых в своем намерении «руководить чтением народа», не были случайными или «неразвитыми», а представляли собой функциональный ответ на различного рода напряжения или потребности модернизирующегося общества). Отсылаем заинтересованных читателей к работам, написанным нами или нашими коллегами, вместе с которыми мы пытались закрыть «белые пятна» на размеченной карте социологии литературы<sup>25</sup>.

Как правило, все идеи или соображения и написанные, но не публиковавшиеся статьи докладывались и обсуждались в кругу коллег и друзей – на семинаре Ю. А. Левады и на внутреннем семинаре в Секторе книги и чтения ГБЛ. Нашими постоянными партнерами и оппонентами, которым мы искренне рады и неизменно признательны, были А. Г. Левинсон и М. О. Чудакова. Важнейшая возможность вынести на обсуждение некоторые идеи и даже опубликовать ряд разработок открылась в рамках организованных М. О. Чудаковой в 1982 г. Тыняновских чтений и сборников на их основе. В ходе этих встреч, обдумывания их опыта и итогов возникла тема истории и функций литературно-образованного слоя (интеллектуалов, а точнее – «интеллигенции») в российском обществе, в процессах его модернизации.

Вся работа над проектом вряд ли была бы возможна без поддержки руководившей Сектором книги и чтения ГБЛ В. Д. Стельмах, ее административного «прикрытия» нашей группы в 1978–1984 гг. и помощи в издании уже упоминавшихся библиографического указателя и реферативного сборника по социологии литературы.

Важной для нас была внутренне полемизирующая с проектом работа А. Г. Левинсона, посвященная макулатурной серии книг<sup>26</sup>. Богатейший, дающий опору для социологического воображения эмпирический материал собран в работах А. И. Рейтблата по историческому бытованию массовой литературы и профессионализации литературного труда<sup>27</sup>. Отдельным направлением, также, кстати сказать, не подхваченным позднее литературной наукой, была попытка внести дух и опыт констанцской школы рецептивной эстетики, проанализированные Н. А. Зоркой в ходе ее работы над диссертацией<sup>28</sup>.

Изменение общественной ситуации с 1987 г. заставило нас вместе с коллегами переключиться на иные проблемы, исследуемые уже в иной технике и другими средствами. Такие тематические области, как анализ ценностей через массовые литературные предпочтения, динамика читательского контингента журналов и газет, распределение символических капиталов в обществе, роль интеллигенции и т. п., с 1988 года стало можно изучать напрямую, в том числе и посредством массовых опросов, проводимых Всесоюзным (теперь – Всероссийским) центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

<sup>25</sup> Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Идея классики и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом. С. 40–82; Гудков Л. Д. Трансформация ценностных оснований исследования в процессе формирования научной дисциплины: пример социологии литературы // Дисциплинарность и взаимодействие наук. М., 1986. С. 192–223; Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Библиотека как социальный институт // Методологические проблемы теоретико-прикладных исследований культуры. М., 1988. С. 287–300; *Они же*. К понятию литературной культуры // Литературный процесс и проблемы литературной культуры. Таллинн, 1988. С. 119–126; Дубин Б. В., Рейтблат А. И. О структуре и динамике системы литературных ориентаций журнальных рецензентов (1820–1978 гг.) // Книга и чтение в зеркале социологии. М., 1990. С. 150–176; Дубин Б. В. Книга и дом (к социологии книгособираательства // Что мы читаем? Какие мы? СПб., 1993. С. 16–39; Зоркая Н. А. В поисках теории // Книга в социалистическом обществе. Таллин, 1985. Ч. 2. С. 113–127; Дубин Б. В., Шведов С. С. Пути книги и заботы собирателей // В мире книг. 1986. № 5. С. 76–78; Шведов С. С. Книги, которые мы выбирали // Погружение в трясину (Анатомия застоя). М., 1991. С. 389–408; *Они же*. Уроки букваря // Знание – сила. 1991. № 11. С. 41–47.

<sup>26</sup> Левинсон А. Г. Макулатура и книги: анализ спроса и предложения в одной из сфер современной книготорговли // Чтение: проблемы и разработки. М., 1985. С. 63–88.

<sup>27</sup> Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М., 1991.

<sup>28</sup> Зоркая Н. А. Предполагаемый читатель, структура текста и восприятия (теоретические истоки, проблемы и разработки школы рецептивной эстетики в Констанце) // Чтение: проблемы и разработки. С. 138–175; *Она же*. Рецептивная эстетика // История эстетической мысли. М., 1990. Т. 5. С. 89–104.

В подготовке книги принимал участие Ю. А. Полетаев, которому мы искренне признательны.

*9 февраля 1994 г.*

# ЛИТЕРАТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

## *Проблемы социологии литературы*

Задачи настоящей работы – дать общее и систематическое представление о литературе как социокультурной системе, условиях ее возникновения, ее структуре, элементах и особенностях функционирования. Необходимость подобного построения вызвана потребностями в разработке концептуального аппарата, во-первых, позволяющего вести теоретико-методологический и социологический анализ проблематики многообразных и часто альтернативных дисциплинарных парадигм современной социологии литературы, а во-вторых, предназначенного для дальнейшей предполагаемой спецификации – для исследования социальных и культурных процессов, обуславливающих особенности развития литературы в России (прежде всего – модернизации). Решение первой из этих задач предопределяет пропедевтический характер данного очерка и объясняет своеобразие материала, используемого для изложения, – он представляет собой аналитическую экстракцию работ современных зарубежных социологов литературы<sup>29</sup>. Моделирование проблемной области ведется на западноевропейской литературе, что создает возможности для применения излагаемой модели в качестве теоретического фона или основания сопоставлений в будущих социологических исследованиях русской литературы. (Подобный методический ход оправдан разворачиванием модернизационных процессов в России.)

Литература определяется в данном случае как социальный институт, основное функциональное значение которого полагается нами в поддержании культурной идентичности общества (соответственно, в фиксации функционально специализированных форм и механизмов личностной, а тем самым и социальной идентичности). Однако такое понимание значимо лишь в рамках общефункциональных представлений об обществе, характерных для построения парадигматической рамки исследований. В ходе же конкретных эмпирических разработок социологу приходится связывать функциональные значения литературы (совокупность литературных образцов) с социокультурными особенностями различных групп, для которых значима литература, их символическими определениями реальности, обуславливающими тематизируемые в литературе значения, способы и технику их тематизации и т. п. Иными словами, социолог квалифицирует различные типы «литературы» через отнесение их к структуре ценностно-нормативной системы социальных групп, действующих в определенных ситуациях. Тем самым открывается возможность разворачивания проблематики социологии литературы в аналитических перспективах соответствующих структурных образований социальной системы литературы (писатель, критик, литературовед, публика, школа, библиотека и др.). Систематическая работа во всех этих направлениях образовала бы историческую социологию литературы. В данном же случае, по вполне понятным причинам, намечаются лишь некоторые подходы.

Выдвигаемая здесь концепция предполагает понимание исторического характера института литературы, поскольку подобные функции и соответствующая их интерпретация значимы лишь в определенных временных рамках и связаны со специфическими характеристиками социальной и культурной дифференциации общества, обуславливающей как необходимость и эффективность подобного социального образования, так и релевантность принятого нами социологического объяснения.

---

<sup>29</sup> Построение подобной модели было реализовано в рубрикаторе и аннотациях указателя «Книга, чтение, библиотека: Зарубежные исследования по социологии литературы. 1940–1970» (М., 1982. 402 с.).

Формирование письменной культуры означает фиксацию и кодификацию прежде всего центральных (или «ядерных») культурных значений и в этом смысле индексирует для исследователя образование функциональных, символических «центров» социокультурной системы<sup>30</sup>. В дальнейшем это «частичное образование», исторически значимое лишь наряду с другими типами культурной записи, принимает на себя функции репрезентации наиболее важных, фундаментальных, а в потенции и «всех» представлений об обществе, мире и человеке, выступая субститутом культуры в целом. Литература же, как об этом свидетельствует и сама семантика понятия (акцентирующая алфавитно-письменную закреплённость текста), в условиях интенсивного социального изменения, дифференциации статусно-ролевой структуры общества и определяющих ее символических конфигураций выделяется как едва ли не единственное средство тематизации и трансляции неспециализированных («общечеловеческих») значений и образцов действия, чувствования, отношения к различным символическим объектам. Более того, претензии литературы в секуляризирующемся обществе становятся все более универсальными по мере того, как она кладется в основу воспитания, вводится в качестве основного предмета в систему «классического» образования, а позднее – в общеобразовательную школу, т. е. в значительной степени предстает синонимом «культуры» как таковой.

Поэтому главной целью настоящей работы является фиксация общей рамки сравнительно-исторического изучения социологии литературы как части социологии культуры. Это значит, что пределом социологической работы будет выявление, описание и объяснение различных систем культурных значений, форм их записи (смысловых взаимосвязей, их аналитических конструкций) и трансформации тех или иных культурных регулятивных механизмов, т. е. ценностно-нормативных образований и конфигураций.

Принятие подобной посылки делает оправданным в теоретическом плане совмещение или сопоставление исследователем социальных, культурных, когнитивных и литературных значений (равно как и их изменений).

Если ограничиваться только уровнем текста (поскольку именно его культурная ценность оказывается конститутивной для всей литературной системы, хотя можно было бы взять и любые другие ее уровни), то подобное единство обнаруживается исследователем в экспликации пространственно-временной системы координат повествования, конструкциях причинности, типах мотивации героев, критериях фактичности описания, стандартах его достоверности как общекультурных принципах организации смыслового материала, представленного в различных формах социального взаимодействия. В данном аспекте общность литературы и различных сфер культуры, науки и др. может быть прослежена либо при сближении самих ценностных образцов, проблематизированных в литературе, философии, социальных науках, теологии и т. п.<sup>31</sup>, либо в сопоставлении способов их репрезентации и упорядочения<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> См.: Долгий В. М., Левада Ю. А., Левинсон А. Г. К проблеме изменения социального пространства – времени // Урбанизация и развитие новых районов. М., 1976. С. 28–34. См. также: Shils E. Center and periphery // Shils E. Selected papers. Chicago; L., 1971. Vol. 2. P. 3–16; Eisenstadt S. N. Symbolic structures and societal analysis // Ethnos. 1975. Vol. 40. № 1/4. P. 428–446.<sup>31</sup> Социологии литературы это образует комплекс задач, связанных с изучением пространственных и временных разметок социокультурной системы литературы в ее динамике (поколенческие наборы агентов литературной системы, символические значения «столицы» и «окраины» в самоопределении литературных групп и процессах их циркуляции, конкуренция литературных центров, динамика передвижения и смены литературных образцов, стандартов вкуса и т. п.).

<sup>31</sup> Это, собственно, и предполагается, когда сопоставляют (скажем, в контент-аналитических исследованиях ценностей, тематизируемых журнальной беллетристикой, бестселлерами, литературой какой-либо группы или направления) констелляции значений, выносимых на обсуждение литературой, с аналогичной проблематикой, трактуемой прессой, социологией, политологией или другими областями знания. Та же общность литературного значения с внелитературными контекстами культуры демонстрируется и при рассмотрении социальной проблематики «в зеркале» литературы и при других трактовках беллетристики в качестве «материала» или «иллюстрации» (скажем, в учебных курсах по истории или социологии).

<sup>32</sup> В этом случае в компонентах символических определений литературной ситуации, в способах организации внутритекстовой реальности исследователем усматривается их обусловленность внелитературными доминантными системами культурных значений. Ср. зафиксированное влияние естественных и социальных наук на поэтику реализма или натурализма, формы романа и т. п.: Berger V. Real and imagined worlds: The novel and social sciences. Cambridge, Mass.; L., 1977.

Причем отдельные парадигмы современной общей социологии и социологии знания (символический интеракционизм, феноменологическая социология, этнометодология и др.) становятся особенно чутки к обнаружению такого рода «литературных», риторических конструкций в процессах конституирования и упорядочения реальности наукой, в обыденном поведении, равно как и в любых ситуациях установления порядка и согласования определений действительности. Таким образом, если исследователь, ориентированный прежде всего на анализ тематизируемых литературой и другими культурными сферами значений, интерпретировал литературу как «социологию», то социологи, сосредоточенные преимущественно на самих процессах порождения и поддержания согласованных культурных значений, интерпретируют теперь уже социологию (и науку в целом) как «литературу»<sup>33</sup>. Подобные исследования, ведущиеся наряду с различными школами понимающей социологии культурологами, герменевтиками, выявляют изъятые из иных контекстов общекультурные или специализированные компоненты в образно-символических средствах литературы. Тем самым обнажается общность культурных форм – норм языка и мышления, воспроизводимых в риторике и тропах литературной техники, в обыденном сознании, в методическом аппарате и «объективных» построениях науки: метафора, ирония, абсурд, повтор, клише и т. п.<sup>34</sup> Это позволяет сопоставлять те или иные литературные конструкции с аналогичными методиками установления или фиксации структуры взаимодействия, например в социальных науках (различные типы наблюдения, документирование психо- и социодрамы и т. д.)<sup>35</sup>.

Сформулированный подход дает принципиальную возможность социологической интерпретации акта чтения (т. е. воспроизведения смысловой структуры текста) как специфической формы социального взаимодействия. Концептуальная схематизация последнего должна включать определение ситуации взаимодействия, конституирующих ее элементов, характера и структуры этих компонентов, а также условий их генезиса. Предложенный подход – рассмотрение социологии литературы как части социологии культуры – должен реализоваться в демонстрации не только исторического характера социальной системы литературы, но и историчности литературной культуры и ее компонентов. Это относится к ключевым понятиям, описывающим функционирование данного социокультурного института, и прежде всего – к самому понятию «литература».

### ***К истории понятия «литература»***

Наследуемая, переосмысляемая и развиваемая европейской традицией Нового времени семантика латинского (калькирующего греческое) понятия включала такие значения, как «письменность» (Цицерон), «грамматика, филология» (Квинтилиан), «алфавит» (Тацит), «образованность, эрудиция, наука» (Тертуллиан)<sup>36</sup>. Иными словами, на ранних стадиях, вплоть до XVIII в., понятие «литература» не содержало явного признака «эстетического», «художественного» или «искусственного». Доминирующими в представлениях о литературе были коммуникативные, а не содержательные элементы, т. е. то общее, что было у литературы (беллетристика) с другими типами письменной культуры – риторикой, философией, историей,

<sup>33</sup> См.: Nisbet R. Sociology as an art form. L., 1976.

<sup>34</sup> См.: Brown R. H. A poetic for sociology: Toward a logic of discovery for the human sciences. N. Y.; L., 1977.

<sup>35</sup> См.: Borenstein A. Redeeming the sin: Social science and literature. N. Y., 1978.

<sup>36</sup> Escarpit R. La definition du terme «literature» // Le littéraire et le social. P., 1970. P. 259–272. Эволюцию семантики понятия в русской культуре, где оно появляется в письменном языке с 20-х гг. XVIII в., см. в книге: Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Куткина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. С. 161–162. Начиная с этого времени фиксируются и другие ключевые понятия литературной культуры: роман (в форме «романц» – 1720), поэзия (1724), критика (1726), проза (1727), классический (1737), драма (1738) и др. (Там же. По указ.).



дидактическими рассуждениями, эссеистикой, «наукой» и т. п. (Оттенки этого значения еще сохраняются в сравнительно позднем словосочетании – «литература и искусство».) Определение через функцию – характер коммуникации – означало, что единство содержательных моментов само собой подразумевается, что оно, так или иначе, «известно». Другими словами, не дифференцированный еще состав «литературы» содержал, в общем, объем того, что охватывалось «культурой», а коммуникативным адресатом, соответственно, оказывалась группа носителей «культуры». Даже выделившись из всего массива литературной культуры, «художественная литература» по-прежнему сохраняет эти свои значения репрезентанта «всей» и «целой» «культуры» с ее мировоззренческим и жизнеустроительным смыслом, пока не начинает утрачивать его, обнаруживая это как пустую претензию, в авангардистской и элитарной литературе.

Для всего периода идеологической значимости «культуры» можно показать устойчивую связь литераторов и центров культуры (и, соответственно, взаимодействие литературных и различных других типов элит и их традиций)<sup>37</sup>. С другой стороны, нетрудно на историческом материале проследить взаимопроникновение идей «литературы» и «образования» (и связь формирующейся литературной системы с университетами). Так, например, в Германии в оппозиции к университетам старого типа в Виттенберге, Лейпциге и др., сохранявшим консервативные ориентации на схоластические образцы интеллектуальной и преподавательской деятельности, на рубеже XVII–XVIII вв. возникли университеты в Галле и Гёттингене, строившиеся на идеях «новогуманистического» образования и «практического благочестия». Это предполагало введение в систему обучения совокупности классических текстов в качестве материалов для эстетического и исторического образования. Античное наследие понималось как форма, по которой отлаживалась национальная культура (принципы «соревнования» с древними у Лессинга и Гердера против винкельмановской идеи «подражания»). Причем в качестве эталона мыслились греческие образцы культурного единства полисов, а не римская и возрожденческая государственность с их политической и военной мощью (как во Франции, с характерной в этом смысле близостью централизованной власти и классической словесности). Идеальный мир философии и литературы, науки и искусства мог возникнуть для слабой в политическом отношении Германии не в результате цивилизаторской деятельности светской власти (как во Франции, где король, император и его двор выступали покровителями просвещения и изящных искусств), а через *индивидуальное* образование и воспитание, практическое осуществление и воплощение которых приняли на себя университеты нового типа. Девизом этих новых педагогических идей стало унаследованное от Гёте и Шиллера и воспринятое В. фон Гумбольдтом в его реформе Берлинского университета «образуй себя по-гречески». Принципы «калокагатии», провозглашенные литературой и университетами как идеал человеческого воспитания и образования, основывались не на старой элоквенции, а на индивидуальном, свободном, природном (естественном в этом смысле) выражении человеческой души и тем самым – национального духа. Этот переход обусловил и введение в программу обучения – в развитие гердеровских идей – родного языка, с одной стороны, а с другой – противопоставление подражательности французского классицизма национальной литературе как предмету заботы, внимания и занятий образованного человека.

Более трудной, но зато и более плодотворной задачей было бы показать взаимосвязь кажущихся техническими и второстепенными моментами характеристик коммуникативного посредника (универсализм письма, печати и чтения) с определениями реальности и их смысловыми детерминациями, обусловленными идеологией «культуры», и, далее, со всей совокупностью конвенциональных средств эстетической экспрессии (организацией времени, передачей

<sup>37</sup> См.: Shils E. Metropolis and province in the intellectual community // Shils E. Selected papers. Chicago, 1974. Vol. 1. P. 355–371; Clark P. Literary culture in France and the United States // American journal of sociology. 1979. Vol. 84. № 5. P. 1057–1077.

пространственных форм, причинности, историчности, объективизма и т. п., определяющих, в конечном счете, жанровые и стилистические особенности поэтики текста и характер его субъективного смыслового воспроизведения в акте *чтения*, а не слушания или зрительного восприятия).

Понятие «литература» претерпевает в XVIII в. существенную семантическую дифференциацию и специализацию значений, получая у Вольтера смысл 1) сообщества «истинных» писателей, мир образованных и «достойных» и 2) письменной культуры, определяющей членство и поведение в этой «закрытой» группе избранных. «Литературе» в этих значениях противопоставлялась «публика». Тем самым очерчивались границы (социального) сообщества, причем понятие «литература» выступало символом коллективной идентичности группы, указывающей в семантике понятия на основание собственной авторитетности.

До оформления развитой структуры науки и ее специализированной интеллектуальной традиции «литература» приравнивается к «искусству интеллектуального выражения», технике интеллектуального производства, что делает «литературу», «искусство» и «науку» синонимами. Однако эти возможности нейтрализации компонентов групповой оценки в структуре значений «литературы» блокируются в ходе указанного процесса и его дальнейшего разворачивания. Содержательные значения понятия универсализируются, но повышенная значимость «литературы» сохраняется и переносится с группы высокостатусных носителей литературного авторитета на совокупность производимых (или оцениваемых) *ими же* текстов. Тем самым генерализация по-прежнему не выводит семантику понятия за пределы группы легитимных репрезентантов литературной культуры, но наделяет «литературу» теперь уже автономно-эстетическими ценностными значениями 1) искусства (правил) создания произведений «на века» и 2) самого корпуса подобных текстов.

Таким образом, в содержание понятия включены теперь два значения – эмпирическая совокупность произведений и универсализация их значимости (оценка), предполагающая сохранение действия ценности за пределами собственно настоящего момента. Такое расщепление семантики можно интерпретировать как переход от *социального, нормативного* определения литературы к *культурному*, высвобождающий литературу теперь уже в качестве ценности (характерен и новый, появившийся к этому времени критерий оценки текстов – их значимость и ценность с точки зрения «будущего»). Выработанное двойное определение «литературы» (дуализм содержательных и формальных характеристик) сохраняется и впоследствии. Это позволяет удерживать в семантике понятия «литература», в традициях его интерпретации и употребления и в самой его метафорической конструкции «аристократические», «высокие», ограничительные коннотаты. Последнее можно наблюдать даже в периоды сравнительной нейтрализации ценностных компонентов понятия, используемого в значении совокупности любых неспециализированных письменных текстов. В таких случаях аффективно-символические коннотаты принимает на себя «поэзия», «лирика», утрачивающая определенность литературного «рода» и обращающаяся в качестве предиката «вымышленного», «условного», «художественного».

Процесс сравнительной релятивизации нормативных значений «литературы» позднее стимулируется просвещенческим и романтическим универсализмом (с их идеями «общей», «мировой», «всемирной литературы»), укреплением позиций исторической школы в гуманитарных дисциплинах, а позднее – позитивизмом с его «отказом» от априорных оценочных квалификаций. Как момент синтеза этих разнообразных культурных интенций и возникают с середины XIX в., как правило, описательные труды по «народной», «тривиальной» и т. п. литературе (с характерной двусмысленностью подобных квалификаций – «народная» и «литература» и т. п.). В дальнейшем аскриптивные компоненты конституирования литературного материала (привязка к социальному положению авторов или обладателей текста) систематически эрозируются в теории и практике литературного авангарда и «порожденной» им «массовой

культуры», создавая перманентные ситуации «кризиса литературы» (либо таких ее полярных по отношению друг к другу эквивалентов, как «роман» и «поэзия»).

С приобретением литературой статуса культурной ценности у понятия, помимо основной и нормативно закреплённой семантики, возникает ореол переносных значений. Здесь стоит указать на употребление «литературы» в качестве метонимического обозначения совокупности (или области) «вторичного» знания о литературе (заглавия учебников, словарей, библиографий, названия школьных и академических курсов и т. п.). Наряду с подобной инструментализацией семантики наблюдаются и противоположные процессы наделения термина подчеркнуто аффективными значениями, фиксирующими отношение к литературе или ее субститутам как к символам отрицательной ценности (ср. верленовское «все прочее – литература» в противоположность поэзии или, напротив, разговорное «ну, это лирика»).

Для дальнейшей разработки данного круга проблем небезынтересно отметить некоторые исторические констелляции, характеризующие этапы семантических трансформаций «литературы». Так, можно установить связь между процессами приобретения литературой и утраты наукой неспециализированных значений «культурного» как «искусного», «интеллектуального» (ср. фактическую синонимичность «литературы», «искусства» и «науки» по крайней мере до XVII века, а в отдельных культурных регионах и позднее). Кроме того, есть основания усмотреть соответствие между процессом становления в рамках автономизирующейся литературной системы представлений о литературе как выражении «реальности», в том числе социальной<sup>38</sup>, и, соответственно, выработкой «реалистических» конвенций репрезентации, с одной стороны, и выдвижением литературы в качестве объекта специализированного (в том числе – социологического) знания, с другой.

\*\*\*

Таким образом, начало существования литературы в ее «современных» развитых формах относится к XVIII в. Эрозия и последующий распад сословного общества, усиление (первоначально экономическое, а к концу века и политическое) городского сословия сопровождаются разрушением жесткого традиционализма механизмов социальной регуляции, дифференциацией и интенсивным формированием социальных и культурных институтов, принимающих на себя функцию восполнения или замены утративших, или утрачивающих, свою силу социальных регулятивных систем. Другими словами, на смену традиционализму с его неизменными типами закреплённых жизненных укладов приходят нормативные и ценностные системы поведенческой (в самом широком смысле) регуляции. Идеальный состав этих новых систем значений охватывается и определяется специфическим понятием «культура». В отличие от иерархического семантического космоса Средневековья, в идею «культуры» как идеала и задачи вошло представление о практическом и теоретическом *формировании жизни, подчинении действительности* «культурной личностью». Овладение и господство, управление как внешними, так и внутренними природными силами человека, установление разумной власти над стихией «природы», «естественности» (все равно, какого рода) тесно связаны с интенсивными процессами секуляризации, утратой единых критериев и оснований ориентации личности в мире, потерей религиозных санкций Разума, а, соответственно, в системах рационалистических метафизик Просвещения – с утратой монизма, нормативной гомогенности мира, определявшейся авторитетом Высшего существа.

<sup>38</sup> Ключевой для современной литературной культуры термин «реализм», анализ семантических трансформаций которого приходится оставить за рамками данной работы, первоначально зафиксирован во Франции в 1835 г. и характеризовал живопись Рембрандта как «реализм в изображении человека» против «поэтической идеализации».

Парадоксальная ситуация, отмечающая констелляцию возникновения культуры, заключается в том, что *продукты человеческой деятельности* стали собственной *критической инстанцией*, т. е. единственной легитимной основой оценки. Без сомнения, это явилось следствием того, что значения традиционного миропорядка, определявшего всю систему поведенческих регуляций, подвергались резкой и интенсивной универсализации. Другими словами, прежние предписания определенного типа социального поведения и, соответственно, чувствования, мышления, желания и т. п. (аристократического, благородного, *надлежащего*) после существенной трансформации и интерпретации мыслителями городского сословия (новой и неродовой аристократии и др.) стали «высокими» образцами «человеческой природы», «естественными», «всеобщими» нормами Разума и нравственности. Утрачивая свой социальный аскриптивный характер, они превращались в совокупность идеальных требований и проекций, представлений о «культивировании» человеческого рода, воспитании и образовании в соответствии с нормами и принципами душевного и духовного благородства и разумности.

Изменение типа регуляции выразилось в замене аскриптивного предписания (содержания традиции) либо обобщенным нормативным, либо ценностным образцом действия, не связанным, по крайней мере формально, с определенным типом его социального носителя. Предпосылкой этого (или, точнее, формой экспликации данного поведенческого механизма системы культурной регуляции) стал «высокий» ценностный ранг подобного культурного образца. Содержательно универсализация образца сопровождалась низкой оценкой социальной *реальности настоящего*, не соответствующего идеальным требованиям и предписаниям. В условиях общества, только что выходящего из мира традиции, с его репродуктивной в отношении прошлого «культурой», пиететом и благоговением в отношении авторитета стародавнего, издавна сущего, «культурные» значения приписывались прежде всего персонажам, героям и событиям высокого предания, «исторического» прошлого.

«Культурой» (в идеальном смысле) становилось содержание «исторического» фонда традиций, утративших свою силу непосредственного упорядочения социального бытия, ставших «историей», «естественной историей». Структуры прежнего социального взаимодействия превращаются в смысловые и символические структуры культурных значений, в общие, обобщенные образцы действия – представления, идеи, ценности и т. п., – получающие с функциональной точки зрения значительный регулятивный потенциал (по отношению непосредственно к поведению или к необходимости согласования и гармонизации других систем значений). При этом культура и связанная с ней идея «образования» (немецкое протестантское *die Bildung* – формирования по образу, по подобию), а позже и воспитания, т. е. культивирования человеческой породы или природы, «облагораживания» и рафинирования (у просветителей, в особенности) человеческих способностей и сил, основывались на уже длительное время существовавших механизмах письменности, «письменной культуры»<sup>39</sup>. Последняя содержала в себе многие из сложившихся форм и значений как социального, так и специфического семантического и экспрессивно-технического, т. е. образно-символического, рода, на которых несколько позже будет основываться функционирование литературы. Если средством облагораживания и утончения Разума стало (конец XVIII в.) образование посредством передачи и усвоения всего систематизированного и упорядоченного корпуса знаний – наука (точное значение немецкого термина *die Wissenschaft*), то культивирование «души», чувств и нравственных способностей было отведено литературе и изящным искусствам.

Формирование «культуры» как своеобразной секулярной идеологии, базирующейся на представлениях о естественных врожденных способностях, идеях и правах человека и, стало

<sup>39</sup> Это понятие охватывает не столько технические характеристики коммуникативного посредника, сколько связанные с ним фундаментальные для того или иного общества содержательные представления, символы и значения, фиксирующиеся благодаря ему.

быть, общих всему человечеству Разуме, нравственности, инстинктах и проч., предполагает уже полное развитие и экспансию письменности во всех сферах общества, в которых разрушились (т. е. были осознаны в своей практической ограниченности) системы регуляции посредством традиции или обычая.

Усложнившийся характер многократно дифференцирующейся системы социального взаимодействия потребовал формального, фиксированного, внеличного посредника. Место обычая или нерушимого, неспециализированного канона постепенно занимали обобщенные – надличные и ситуативно не закрепленные – правила и руководства (нормы права, в том числе – гражданского права, определяющие многообразные договорные отношения собственности, авторства, рамки свободы, ответственности, денежные обязательства и т. п.), рекомендации, оставляющие значительную свободу выбора или интерпретации действия. Расширение сферы функционирования письменности, письменной культуры<sup>40</sup> трансформировало старые механизмы репродуцирования общественной системы, особенно тех наиболее важных и сложных подсистем ее, в которых фиксированы фундаментальные представления о мире и его смысле<sup>41</sup>. Элементы этих структур со временем приобрели «рациональный» (инструментальный, «технический» или формальный) характер, допускающий свободную оценку по различным критериям и основаниям пригодности тех или иных содержаний традиции. Эти изменения затронули, естественно, и старые формы образной символики и повествования, а также «сценические» формы. Их функциональная роль и статус изменились, поскольку с ними – уже существующими, традиционно-символическими структурами, в которых сохранялись остающиеся высокоавторитетными канонами представления религиозного или архаизированного светского содержания, – создавалась новая сфера форм и значений. Будучи генетически связаны с образцами прежних повествований, литературные конструкции, однако, абсорбировали и адаптировали на свой лад достижения и других доминантных прежде сфер «эстетического», образно-символического выражения. Среди последних можно указать на живопись, повлиявшую на описания «неподвижных» картин или событий, что способствовало рационализации техники выражения и расщеплению тематики и средств изображения; музыку с ее высоким статусом субъективного выражения сверхличных представлений и идей; театр, заложивший организованные формы композиционного построения и «драматической» репрезентации реальности.

Наряду с претензиями на преимущественное представительство «культуры» в ее неспециализированных формах, литература нередко выступала конкурентом или субститутутом специализированного гуманитарного знания – философии, истории, этики и т. п.

Освобожденная от обязанностей передачи определенной семантики, литература, как и все эстетические формы в целом, несет компоненты исторических содержаний – традиции, при этом она является исторической и репрезентативной как по тематике, так и по смысловым структурам экспрессивных форм<sup>42</sup>, особенно заимствованных или находящихся под специфическим воздействием других эстетических сфер.

<sup>40</sup> Уже в специальном теоретическом смысле – как совокупности значений, отчужденных от непосредственного «живого» их носителя, переданных анонимному и универсальному посреднику, а стало быть, при определенных условиях равно доступных и, значит, релевантных любому индивиду вне времени и пространства, т. е. универсализированных образцов значений.

<sup>41</sup> Так, в Германии население стало практически грамотным уже в середине XVII в. Индивидуалистический характер аскетического протестантизма, потребовавший от индивида самостоятельного, без авторитетных в религиозном отношении посредников, обращения к Богу, а соответственно, и к Писанию, предопределил массовое бюргерское образование и чтение. Оппозиция аристократического возрожденческого гуманизма и массового бюргерского образования оказала весьма существенное воздействие на характер интеллектуальных процессов в Германии, на формирование, доступность и фонды библиотек, на развитие всей литературной культуры (в различных ее образованиях: от литературной техники до авторства и особенностей публики). См.: *Engelsing P. Der Bürger als Leser: Lesergeschichte im Deutschland, 1500–1800. Stuttgart, 1974.*

<sup>42</sup> Это нетрудно продемонстрировать на примерах исследований в рамках герменевтики или культурологии, рассматривающих трансформации риторических и поэтических структур. См., например: *Frye N. Anatomy of criticism. Princeton, 1957; Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1960; Jauss H.-R. Ästhetische*

Именно «в преемственности» с этими «историческими» содержательными моментами синтезируется, в их перспективе конституируется и осмысливается неопределенное, проблематическое и в силу этого малоценное «настоящее» – прежде всего факты наличного социального бытия, тематизируемые литературой. Определяемое, нормативно-конструируемое из содержательных блоков, помеченных как «стародавнее», «всегда бывшее» (и в этом смысле – «изначальное», «основное»), это прошлое сохраняет оттенок ценностной значимости, близкий или подобный «моральному». Подобный квазиморальный характер культурных универсалий, придающий специфическую модальность указанному выше синтезу, демонстрируется либо как «образцовость» примера (действия, героя, чувствования и т. п. элементов литературы), либо как принудительность признания каких-либо содержаний литературного произведения, следующая из иных, также претендующих на общезначимость правил и норм.

Иначе говоря, изображаемая в литературном произведении «действительность» благодаря этим историческим компонентам приобретает высокое значение всеобщего образца. Последний наделяется характеристиками, исторически универсальными не только в силу специфической – письменной<sup>43</sup>, т. е. культурной, выделенности самим фактом изображения, признанного тем самым в качестве подлежащего сохранению и удержанию от бессмысленности забвения, но и благодаря повествовательным формам, имплицитно сохраняющим форму осмысленности исторического процесса, «происходящего», что всегда внутренне роднит литературу и историю. Только потеряв непосредственную силу и релевантность, социальное явление (обратимое, повторяющееся социальное взаимодействие) становится «темой» в культуре. Другими словами, тематизируемое социальное явление актом придания ему ценности (т. е. воспринимая от этой приданной ценности логические и модальные предикаты *всеобщности и обязательности*) генерализуется, причем этот процесс протекает как «отрыв» от некой изначальной «увиденной», «реальной» и т. п. непосредственной ситуации, генерирующей это взаимодействие<sup>44</sup>. Литературное изображение конвенционально определяется как происходящее где-то и с кем-то, а значит, и с каждым.

Квазиморальное оценивание и включение в состав письменной культуры (и так уже нагруженной сверхавторитетом) объясняет конвенциональный характер культурных норм, не лишенных, однако, в силу важности достижения согласованного порядка взаимодействия (т. е. социального консенсуса), и некоторых моментов принудительности, неформальных, неспециализированных санкций. Их воздействие ощущается, например, в принудительности норм «вкуса» (при всей эластичности диапазона их воздействия). «Вкус», или «такт», определяемый как индивидуальная способность различать эстетически «правильные» и неправильные вещи и оценки, является манифестацией стандартов групповой символики, группового стиля, а значит, и выражением механизмов внутригрупповой солидарности, к нормам которой приносятся (обязуются быть лояльными) члены данного сообщества. Иными словами, конвенциональность «эстетического» в определенной мере есть система форм групповой идентификации, высокозначимыми и упорядочивающими символами прошлого, т. е. элементами самоопределения группы, задающими осмысленность и непрерывность происходящего, его

Erfahrung und literarische Hermeneutik. Bd. 1. Versuche in Feld der ästhetischen Erfahrung. München, 1977.

<sup>43</sup> Факт закрепленности на письме в собственной форме генерализует и дублирует ту же культурную ценность.

<sup>44</sup> Такого рода «морализация» и «эстетизация», выступающие как форма и продукт универсализации прежних партикулярных образцов, могут быть, в свою очередь, рассмотрены как типовые механизмы адаптации в процессах социокультурного изменения, т. е. как групповые определения реальности. Процедуры рефлексивного надления традиционного материала значениями этического и/или эстетического образца характерны для ситуаций идеологического конструирования традиций в развивающейся культуре, культурного взаимодействия (освоения «чужого» наследия) и модернизации. В качестве примеров здесь можно указать на трансформации гомеровских повествований неоплатониками, соответствующие аспекты интерпретации античности в культурах христианизирующегося мира, в спорах «древних» и «новых» во Франции, а позднее в России, синтез «национального» и «западного» в русских почвеннических идеологиях (от славянофильства до символизма) и т. д. Содержательная оценка этих образцов может быть и резко отрицательной, оставаясь тем не менее в пределах «благого» и «прекрасного».

порядок. Поэтому-то всякие признаки историчности в содержании литературных текстов, любая символика изменения оказывается столь значимой и теоретически интересной для исследователей, получающих в этом случае материал для анализа социальных трансформаций: модернизации, урбанизации, индустриализации и т. п. (старое – новое, деревня – город).

Литература (и искусство) явилась преимущественной формой выражения и в то же время – нормативной стабилизации субъективности (принципа, формирующегося вместе с идеей культуры), т. е. личностного основания манифестации и гармонизирования гетерогенных ценностных значений по нормам «благого и красивого». Содержание этих интегрирующих значений связано с составом «исторического», в том числе – «исторических» образно-символических форм (конвенций, канонов, символов, метафоры, семантики и т. п.).

Образцами, совершенными во всех отношениях примерами, становятся определенные области античного наследия, издавна и традиционно представляющие предмет изучения в «классах». Собственно, в значении «школьного» (относящегося к школе) прилагательное «классический» употреблялось в средневековой Европе, сохранив это значение вплоть до Новейшего времени (классические авторы для Дидро в «Энциклопедии» – это «авторы, которых изъясняют в школах»). Ренессансные гуманисты универсализировали значения «классического» у Авла Геллия, Цицерона и других авторов (как относящегося к высшим рангам – цензовым классам – социальной структуры римского общества<sup>45</sup>), привнеся в него семантику образцовости. Позднее французские классицисты добавляют к ней новые значения: «классическое» интерпретируется ими как характерное для греческой, но прежде всего для римской древности. В манифестациях этой группы понятию задается двойное определение, совмещающее в себе формальные критерии (абстрактное совершенство) и содержательные характеристики (пантеон авторов и корпус их текстов).

Сама идея нормативного ядра античной культурной традиции в его письменно зафиксированном виде восходит к Афинам IV в. до н. э., когда были воздвигнуты памятники «последним великим трагическим поэтам» Софоклу и Еврипиду и подготовлен государственный «обязательный» экземпляр их сочинений. Тем самым начат последовательный ряд предприятий по фиксации, упорядочению и кодификации культурного наследия, крупнейшим из которых стала работа филологов Александрийской библиотеки («канон» Аристофана Византийского).

К XVIII в. в деятельности групп, занятых идеологическим конструированием национальной традиции в ее преемственности по отношению к «древности», становится возможным универсализирующий синтез выработанных ранее значений «классического». Ими вводится представление о «совершенных» произведениях Нового времени, созданных по античным, реконструированным правилам и образцам. В ходе этих трансформаций, сопровождавшихся возникновением и конфликтом оппозиционных по отношению к «античной» традиции литературных группировок (баталии «старых» и «новых» авторов во Франции, «старых» и «новых» книг в Англии и т. п.), предикат «классического» как «совершенного», утратив неременный компонент «древности», был перенесен на авторов Нового и Новейшего времени («наши классические писатели» у Вольтера, 1761 г.). У писателей, сознательно ориентирующихся на античные формы и темы и стремящихся – в рамках процессов формирования национальных государств и выработки символов культурной идентичности нации (литература, язык и др.) – синтезировать традиционализирующие ориентации с современным интеллектуальным движением, возникает понятие «национальные классики» («О литературном санюлотстве» Гёте, 1795 г.). В дальнейшем семантика «классического» (точнее – классицистического) определяется в оппозиции к «романтическому» (как «подражательного» – к «оригинальному», «старых форм» – к «новым формам»), причем романтизм связывает с «образцовостью» любую

<sup>45</sup> Ср. существовавший в XVIII в. русский эквивалент этого понятия, еще сохраняющий социоморфную референцию, – «степенные писатели».

древность, наделяя тем самым значениями «классического» как «природного» – «национальное», «местное», «народное» и т. п. и соответствующим же образом интерпретируя греко-римскую (но теперь, прежде всего, греческую) античность как локальный, исторический феномен культуры<sup>46</sup>. В постмодернистическом авангарде дихотомия приобретает вид противопоставления «классического» или «академического» – как общего, правильного и безличного, относящегося к любому историческому прошлому, т. е. собственно традиции, – «современному» (*moderne*, как метафоре авторской субъективности).

Прослеженную здесь в общих чертах эволюцию семантики «классического» можно интерпретировать как последовательное конструирование «универсальной» культурной традиции агентами литературной культуры (в манифестациях писателей, в литературной критике, а позднее – в рамках литературоведения), осуществляемое в процессах выработки и поддержания собственной культурной идентичности. Семантическая референция к «древности», рассматриваемая в общем функциональном плане организации культуры, является фиксацией пространственно-временных границ истории, культуры и собственно литературы, упорядочиваемых тем самым в своем поступательном и преемственном «развитии»<sup>47</sup>. «Прошрое» в модусе «высокого» становится средством нормативного определения и установления гетерогенных компонентов, различных культурных значений дифференцирующегося социокультурного космоса. Классическая словесность выступает ценностным образцом, основой ориентации для возникающей литературы, мерилом ее собственной продукции, источником тем, правил, норм переживания и интерпретации. Тем самым формирование идеи «классики» служит одним из первых имманентных интегративных механизмов внутри автономизирующейся литературной культуры, а стало быть, и автономной социальной системы литературы, поскольку с возникновением систем собственно литературных авторитетов (а значит, и критериев оценки новых произведений) возникает базирующаяся на них система ценностных ориентаций, регулирующих процессы взаимодействия по поводу литературы. Эффективность подобного традиционализирующего механизма конституирования и интеграции литературной культуры как «культуры в целом» (через поддержание содержательного образца) сохраняется лишь в пределах нормативной литературной культуры (и в соответствующих институтах и группах). Долее всего нормативная авторитетность классики удерживается в системах литературной социализации со свойственным для них дистанцированным пиететом перед «примером» и «образцом», но даже и здесь, и именно в силу отмеченной дистанции, классика лишается характера живой традиции, подвергаясь разрушению в инструментальных процедурах сопоставления текстов, генерализации текстовых значений, абстрагирования критериев анализа от анализируемой семантики и т. п.

В ходе подобной эрозии значимость сохраняют лишь обобщенные и формальные (тематически пустые) характеристики «классичности», совокупность которых образует относительно универсалистскую «культурную форму», эффективно реализуемую в процессах литературной коммуникации теми или иными группами ее участников для различных целей (эти функциональные значения «классики» выступают для исследователя индикаторами, фиксирующими наличие конфликтных групп с их конкурирующими определениями реальности). Так, оценочные формы «классичности», будучи приложенными к различным содержательным значениям, используются группами, устанавливающими и поддерживающими нормативный состав и порядок литературной культуры, в качестве средства фиксации области признанных достижений (и в этом смысле – области неproblemатичного) в литературе – совокупности образцов, аккумулируемых в фонде литературного наследия, и прежде всего – «уходящего».

<sup>46</sup> Tatarkiewicz W. Les quatre significations du mot «classique» // *Revue internationale de philosophie*. Bruxelles. 1958. № 43. Fasc. 1. P. 5–22.

<sup>47</sup> Ср. категории «русская классика», «советская классика».



Вместе с тем через референцию к классике как символической сфере предельной упорядоченности культурных значений (и их полной осмысленности в рамках этого интегрального целого) литературная критика и функционально близкие к ней идеологические группировки структурируют актуальную литературную культуру, проводя разметку и оценку литературного потока<sup>48</sup>. Наряду с этим, в деятельности специфических инновационных групп исследователь может фиксировать апелляцию к ценностным конфигурациям «классического» даже для парадоксальной легитимации литературных изменений и программирования литературного развития. Из мифологемы ушедшего «золотого века» классика превращается здесь – при характерной смене модуса на «долженствующий быть» – в утопическую, более того – принципиально нереализуемую проекцию «нового мира» в будущее (ср. настойчивые ожидания и требования «нового классика» в переходных ситуациях). Во всех этих случаях обращение к классике сохраняет для социолога свой функциональный смысл основы группового контроля над разнообразными в содержательном плане процессами изменения и дифференциации социальной системы литературы.

Апелляция к классике или аналогичным интегративным субститутам в литературе (каноническим категориям «жанра» или «стиля») может отмечать для исследователя и формирования специфических маргинальных групп, стремящихся таким образом легитимировать свои притязания на ведущие позиции в литературной системе. Последнее обычно для процессов ускоренного развития культурной периферии (ср. соображения Т. С. Элиота об ориентации на античную классику как идеологию самоопределяющейся культурной элиты бывших варварских провинций Римской империи<sup>49</sup>).

Обобщая сказанное, мы полагаем, что социолог вправе сопоставить функциональное значение таких образований различных уровней, как письменная традиция в рамках культуры в целом, литературный язык (т. е. язык «классических» авторов) в отношении всего речевого фонда общества, «классика» («высокая» литература или образцы «высокого» стиля) в пределах всей словесности, архаизмы («высокие» речения, экзотизмы и др.) в границах текста и т. п. Эти региональные аксиоматики литературной культуры (или их дисциплинарные аналоги в специализированных областях – критике, литературоведении) представлены фундаментальными метафорами литературной «реальности». По отношению к подобным символическим образованиям носители всей полноты значений того или иного уровня производят определенными, в большинстве случаев – рутинными для себя техническими средствами традиционализирующую интерпретацию смысловых компонентов в рамках, соответственно, литературной культуры, дисциплины, текста или совокупности текстов. Эти синтетические «целостности» социолог литературы в свою очередь аналитически расслаивает, усматривая в образуемых конфигурациях – в соответствии с общей логикой предлагаемого здесь подхода – различные в модальном отношении типы поведенческой регуляции (нормативной или ценностной).

Социолог обнаруживает в трактовках критики и литературоведения, в использовании ими образований, подобных «классике» (т. е. «методических» средств генерализации и типологизации литературных значений), символические компоненты группового самоопределения. Манипулирование этими конструкциями дает авторитетным инстанциям литературной системы и ориентированным на них слоям публики возможность согласованным образом выстраивать и поддерживать в процессах коммуникации, социализации и т. п. частичные «миры» литературы (конечные области значений «реальности») в качестве тотальностей, консистентных в заданном отношении и гомогенизированных наличными культурными средствами, т. е. в конечном счете – устанавливать и сохранять нормативную структуру и про-

<sup>48</sup> Rosengren K. E. Sociological aspects of the literary system. Stockholm, 1968.

<sup>49</sup> Eliot T. S. What is a classic // Eliot T. S. On poetry and poets. L., 1971. P. 53–71.

течение социального взаимодействия. В этом смысле описываемые образования могут быть в функциональном плане сближены исследователем с аналогичными метафорами нормативного порядка (преемственности и изменения) в культуре или ее специализированных сферах, например науке. Так, правомерно сопоставление функций «классики» в литературной культуре с ролью представлений о «наследственности» в естественных и социальных науках, в общественном мнении и художественных текстах Новейшего времени (потенции изменения закрепляются при этом за «средой»)<sup>50</sup>.

В указанном аспекте – как средство обоснования собственного видения реальности определенными культурными группами – классика может быть сопоставлена в Новейшее время с идеей «модерности», что, впрочем, демонстрируется в неоклассических течениях авангардной литературы. Групповые ориентации на значения классичности и модерности в своей референции к субститутам трансцендентного в секулярной культуре (фактически, тематически пустой области вневременного) обнаруживают для социолога сходную по интенциональной структуре конструкцию, нормативно фиксирующую определения ситуации. Тем самым оценочно конституируются содержательные значения актуального или прошедшего, причем последнее квалифицируется как более «низкое» (ср. тавтологическую конструкцию такого сочетания, как «классическая древность» или определение Ш. Бодлером современного искусства как «представления настоящего» – *répresentation du présent* – или даже «воспоминания о настоящем»). Отсылка к временным размерностям в данных случаях не означает рефлексии над протеканием времени или актуализацией фиксированной длительности прошлого. Она используется как средство символической синхронизации гетерогенных культурных значений проблематического настоящего, позволяя через референцию к этим условным и вневременным координатам отсчета устанавливать связанность смысловых компонентов в виде их квази-исторической последовательности, т. е. специфическим, универалистским образом разворачивать нормативную структуру или иерархию групповых ценностей на единой оси линейного «бескачественного» времени. И «классика», и «модерн» для носителей описываемого типа поведенческой регуляции в этом смысле как бы противопоставлены истории, культуре и любой другой предметности в качестве «метаисторического» и «надкультурного», что предопределяет симптоматическую для исследователя установку таким образом ориентированных групп по отношению к языку как универсальному медиуму традиции. И ценностная предпосылка надвременной незыблемости языковых значений и правил, и претензия на их тотальное элиминирование в акте сиюминутного, точечного, «непосредственного» представления и повествования приходят в конфликт с неотъемлемой историчностью языковых форм и семантики. Характерно поэтому, что герменевтический и культурологический анализ вскрывает в описываемых конструкциях «классического» и «модерного» их историчность и культурность<sup>51</sup>.

Утрата аскриптивного характера форм и тем письменной культуры была восполнена в классицизме установлением нормативного характера литературы и литературного языка. Представление о норме литературного образца, ориентированного на исторические формы, и прежде всего – на строго определенные темы, задало динамическую границу жанров, т. е. подчеркнуло нормативно-иерархический характер тематики и стилевых средств выражения – структуры ценностей, лежащих в основе жанровой классификации. Этим же была задана и нормативная дихотомия «высокого искусства» и «неискусства», «нелитературы», или «литературы для народа», «тривиальной», «развлекательной» и т. п. Основание же структуры литературных авторитетов, заново проблематизированное романтиками, вынужденными

<sup>50</sup> Kermode F. The classic: Literary images of permanence and change. N. Y., 1975. P. 90–114.

<sup>51</sup> Jauss H.-R. Literarische Tradition und gegenwärtige Bewusstseins der Modernität // Aspekte der Modernität. Göttingen, 1965. S. 150–197; Der Klassik Legende. Frankfurt a.M., 1971; Man P. de. Literary history and literary modernity // In search of literary theory. Ithaca; L., 1972. P. 237–267; Marino A. Modernisme et modernité: Quelques précisions sémantiques // Neohelicon. Budapest. 1974. № 3/4. P. 307–318.

в полемике помимо воли утверждать и упрочивать статус и необходимость критериев оценки и эталонов литературности (точнее, их формальное и функциональное значение), составило ядро собственно литературной «традиции». «Традиция» определяла устойчивость новой возникающей литературной системы, более того, фиксировала механизмы циркуляции литературных образцов между уже дифференцированными нормативными слоями литературной культуры и самой публики (использование тем, техники, цитация и т. п.). Тем самым были заданы «верхняя» и «нижняя» границы релевантности литературного образца и созданы возможности адаптации высокочисленных компонентов элитарной литературы представителями ее массового производства, что подготовило условия для массового функционирования литературы и превращения определенной ее части в некоторое подобие средств массовой коммуникации.

Отчленение областей массовой словесности выступило при этом специфическим моментом (а для исследователя – индикатором) прогрессирующей структурной и функциональной дифференциации социокультурной системы литературы. Общей культурной предпосылкой этой дифференциации стало разрушение нормативности единого и единственного в своей универсальности и надвременности классицистского канона и содержательных определений литературы в идеологии романтизма, т. е. – в социальном плане – возникновение конкурирующих за авторитет элит и групп. Агентом данного процесса явилась практически первая социально автономизированная, собственно литературная авангардная группировка. Именно для романтиков с их проблематичным, не предписанным статусом в обществе и культуре и преимущественной ориентацией на новацию, т. е. на поиск новых и уже чисто культурных источников авторитетности, инстанций поддержки, способов литературной коммуникации и т. д., «контр-литература» (народная, низовая и т. п. дискриминированная словесность) становится проблемой *литературной* культуры, а инкорпорирование ее в литературную культуру – собственной проблемой. (В этом романтики могли опираться на отдельные моменты литературной идеологии, оформляющейся на исходе Просвещения или в его маргинальных сферах, – манифесты Гёте, Гердера, Жан-Поля и др.) Заложив основы этоса литературного авангарда Новейшего времени, с настойчивостью противопоставляемого критиками и педагогами массовой литературе, романтики вместе с этим ввели феномены массовой (народной, низовой) словесности в литературную культуру, т. е., отделив ее от *элитарной* литературы как *массовую*, конституировали ее как *литературу*. Само по себе наличие явлений такого рода – популярного богословия, массовых словесных практик – характерно, видимо, для всех письменных культур и этапов существования письменной традиции и отнюдь не составляет специфики Новейшего времени, вопреки идеологиям носителей нормативной литературной культуры в постромантическую эпоху. Однако для кружкового этоса, скажем, Ренессанса, придворного классицизма или Просвещения, эти феномены попросту не относятся к поэзии, истории или культуре – они вне сферы внимания и обсуждения. Представление же (с точки зрения агентов нормативной литературной культуры) о «начале» подобной эрозии литературы как раз имеет своей предпосылкой проведенное романтиками включение массовой словесности в литературу на правах одного из ее уровней или типов. Иными словами, необходимо было лишить авторскую субъективность каких бы то ни было содержательных определений, чтобы носитель подобной субъективности смог усмотреть в любых словесных построениях (хотя бы потенциальную) «литературу», и всего лишь «литературу». В конце концов, важно лишь то, что эти продукты или символы некоей творческой энергии (все равно, трактовались ли они в качестве «духа» народа или собственной воли автора) оказались принципиально лишены всяких иных характеристик и атрибутов, кроме собственно символичности, конвенциональности. Трубадуры или классицисты (равно как, с другой стороны, клирики или скальды) квалифицировали свою деятельность по-разному, однако ни для кого из них она не могла бы маркироваться (тематически пустым теперь) определением «литература».

Романтиками в данном случае была осуществлена двойная операция – дифференциация социокультурной системы литературы (через выделение в ней статусно и функционально различных групп, уровней, типов и т. д.) и ее интеграция (через экспансию литературы во вне- или долитературные сферы). Сложившаяся в результате этого ситуация позволяла задавать *имманентную*, т. е. собственно *литературную, динамику* и вместе с тем поддерживать символическую интеграцию социокультурной системы литературы, систематически втягивая в определения ситуации и творческую практику новых авангардных групп неканонические значения (литературизируя экзотику, архаику, документ, устную словесность и т. п.) и столь же систематически выводя маркированные как уже непроблематичные образцы из авангардной и «высокой» литературы в «массовую». Этот и подобные ему механизмы оказываются чрезвычайно эффективными средствами поддержания целостности и статуса высокой литературы. Носители ее, используя различные в содержательном плане классификации образцов (см. об этом ниже), выделяют своеобразные «резервуары» непроблематичного в культуре.

Типологически это составляет, наряду с «массовой» литературой, такие образования, как «детская литература», «литература в школе» и т. п. Набор конкретных произведений в этих сферах может частично перекрываться; в ряде случаев подобная диффузия производится путем «адаптации» или дидактической переинтерпретации образцов. Характерно в этом смысле, что конститутивные для высокой литературы принципы «оригинальности» и т. п. в данных формах недействительны: образец может адаптироваться или пересказываться (а иногда даже и переводиться) под именем другого автора, что свидетельствует о незначимости авторского права и тех универсалистских ориентаций, которые стоят за ним. (Ср., например, русскоязычные варианты «Трех поросят», «Буратино», романов об Урфине Джюсе и т. п.) Не разбирая специально эту проблематику, укажем только, что корпус «классической» детской литературы в основном образуют – в данном отношении – такие компоненты, как фольклорная и литературная сказка и их переработки (братья Гримм, Ш. Перро, Г. Х. Андерсен), рационалистически-просветительский, дидактический роман (Дж. Свифт, Д. Дефо) или адаптация в соответствующем духе (Ф. Рабле, М. Сервантес), авантюрно-приключенческая литература на историческом и/или экзотическом – «первобытном», восточном и т. п. материале (Ж. Рони, А. Дюма, Ф. Купер, В. Скотт, Пушкин, например «Дубровский»). Все эти произведения, точнее говоря – их типы, отнюдь не предназначались для детского чтения или, по крайней мере, предназначались не только детям (М. Твен, Р. Стивенсон, Ж. Верн).

Принципы подобного отбора и адаптации и реализация их в различных системах социализации составляют специальный предмет социологической работы. Приведем лишь один факт: протестантский дух «Робинзона Крузо», едва ли ощутимый в литературной культуре как секулярной сфере, оказался препятствием для распространения этого романа в католической Испании среди детей и взрослых вплоть до середины нынешнего века.

Собственно, романтики же и реализовали эти выработанные ими механизмы: в их принципиально гетерогенных в содержательном и формальном аспекте литературных текстах нашли себе место на правах пародии или стилизации компоненты низовых словесных практик, элементы до- и внелитературных построений и др. С одной стороны, тематизированные ими ценностные значения и конфигурации, равно как и способы и техники их повествовательного упорядочения оказались авторитетными для последующей массовой литературы. Здесь стоит отметить, что сознательная и, более того, демонстративная адаптация компонентов массовой словесности *литературой определенных направлений позднейшего авангарда* ведется вполне последовательно, причем она эксплицируется в их творческих манифестах. Соппротивление же процессам массовизации «высокой» литературы осуществляется как раз носителями нормативной литературной культуры в ее наиболее консервативных инстанциях и сферах – в институтах социализации, в близких к ним или ориентированных на них группах литературной критики, литературоведения и т. д.

Группами рутинизаторов романтической идеологии литературы, характерным образом переосмысливших конвенциональные ценности романтического этоса в качестве вполне содержательных норм собственной работы, и были продуцированы первоначальные образцы уже собственно массовой в современном смысле слова литературы (роман-фельетон). Таким образом, установление «массового» уровня литературы (и ее аудитории) было осуществлено (и осуществляется до сих пор), исходя из ценностей элитарной литературной культуры, в соответствии с функциональными потребностями литературной элиты (а также стоящих за ними господствующих групп) и средств «высокой» литературы. Авторитетно удостоверенные (и потому нормативные для авторов и реципиентов массовых текстов) значения предъявлялись уже как «сама действительность» без указания на определяющие ее инстанции и критерии. Тем самым представители «высокой традиции» не только маркировали область «массовой» литературы, но и структурировали ее, через «снижение» и трансформацию своих образцов придавая литературные (и шире – культурные) формы неопределенной, потенциально открытой совокупности внелитературных нормативных значений.

Авторитетность «высокой» литературы для групп рутинизаторов, тиражирующих ее ценностные значения и придающих им при этом нормативный модус, предопределила сосредоточенность массовой словесности на интегративных смысловых образованиях, *стабилизирующих эрозию нормативных определений «действительности»*. Речь идет не только о репрезентируемых социальных конфликтах и напряжениях, но и о самом конституировании повествовательной «реальности». «Высокая» литература, можно сказать, явилась в этом смысле такой же «историей» для массовой, как компоненты традиционной культуры – для нее самой, с той, однако, оговоркой, что «высокая» литература в процессах самоопределения универсализировала радикалы долитературной традиции, тогда как «массовая» словесность, напротив, традиционализировала адаптируемые ею литературные значения и конструкции. Последнее социолог фиксирует, например, в редуцировании массовой литературой многообразной системы фикциональных, субъективно-организованных временных перспектив повествования (игры с субъективными формами времени, многозначностью point of view и т. п.), характерной для авангардной словесности, и, соответственно, в сокращении периода циркуляции «массовых» литературных образцов (а это, в свою очередь, обычно исключает повторное обращение к ним, конститутивное для литературной системы и демонстрирующее ценностный потенциал «классических» текстов).

Нормативность значений и способов их тематизации в «массовых» текстах выявляется и в процессах их рецепции. Среди аудитории популярного романа, мелодрамы и т. п. с их поэтикой как бы «самой» жизни (в ее предварительно структурированных и оцененных литературой формах, т. е. гораздо более узнаваемой и «подлинной») поэтому и сложились характерные для массовых читателей (а ранее – прежде всего читателей) феномены обыденного и вполне «серьезного» поведения, стилизованного под литературные (и других массовых искусств) образцы, что, в свою очередь, систематически проблематизируется «высокой» литературой<sup>52</sup>.

Этот процесс культурной дифференциации был обусловлен формированием во второй половине XVIII в. социальных предпосылок, делающих возможным само существование литературной системы. К наиболее важным из них относится образование социальных структур, гарантирующих писателю культурную (эстетическую) и социальную автономию. Собственно автономность социальной роли писателя, в романтической фразеологии – «гения», семантически обозначена расхожими представлениями о нем как индивиде, ведущем независи-

<sup>52</sup> Это семантическое «оживление» и функциональное переосмысление радикалов долитературной традиции в жестко оцененных, подчеркнуто содержательных и структурных компонентах поэтики массовых повествований (или «поэтики поведения») маркируется их современными интерпретаторами как мифологичность (примечательно, что большинство из них ориентируется на идеи и принципы работы структурной этнологии).

мый и свободный образ жизни «на границе» повседневного и трансцендентного<sup>53</sup>. Но более важно, что к этому времени складывается развитый книжный рынок, что обеспечивает автору материальную свободу от мецената. Место партикулярной зависимости поэта и писателя от личности обладателя или распределителя власти (как символического посредника между персонифицируемыми значениями всего социального целого и литературой) заступают обобщенные отношения, регулируемые другим обобщенным посредником – деньгами. Это универсальное символическое средство в форме гонорара является генерализацией аффективного признания литературной продукции публикой (а также ее представителями или заместителями). Собственно, только теперь, с появлением рынка, и начинают складываться разнообразные ожидания «публики». Двойственность фигуры книготорговца и издателя, сохраняющего в своей деятельности как императивы культуртрегерской и миссионерской задачи (партикулярную зависимость от массового читателя), так и универсальную, аффективно-нейтральную и анонимную связь с товарным рынком, позволяет ввести в функционирование литературной системы своеобразный момент дальнейшей дифференциации.

Книгоиздательская деятельность делает литературу независимой во времени и пространстве, в том числе – и от автора. Как и возникающая подписка (первоначальная форма коллективного меценатства и коллективного предприятия), она позволяет тиражировать те или иные литературные образцы, а затем задает и иные инстанции литературных авторитетов, выводя литературу из прежнего аскриптивного существования в «салоне» или кружке ценителей и дилетантов, даже за рамки той или иной национальной общности. Она сама по себе производит известное многообразие литературных форм и направлений, допускает даже литературную «войну».

Усиливающийся плюрализм литературных критериев (и, соответственно, умножение литературных канонов) функционально обусловил и появление фигуры эксперта и посредника (критика), с одной стороны, и его академического эквивалента – комментатора, преподавателя и хранителя традиций, держателя высоких образцов (ученого, университетского профессора), с другой. И критик, и академический литературовед маркируют литературную продукцию, но исходя из разных целей, поскольку каждый из них репрезентирует собой ценности различных социальных систем (образование, церковь, государство, буржуазию, аристократию, журналистику, предпринимательский класс и т. п.), что, соответственно, выражается во временных и пространственных параметрах их аудитории и релевантного для них корпуса текстов («объеме» традиции). Критик представляет публичность, общественность и «общество» в целом, а точнее – ту или иную авторитетную социальную группу или даже специализированный институт (например, исполнительные органы государственного или духовного управления – политическую или религиозную цензуру<sup>54</sup>), литературовед же манифестирует ценности собственно культуры и ее специфического сектора – литературной культуры и задает принципы отбора и характер преподавания и изучения литературы. Кроме того, книжный рынок, теоретически представляющий символическую формулу конкурирующих ценностей различных социальных групп (также продукт процессов социальной дифференциации), – позволяет

<sup>53</sup> Shulte-Sasse J. Autonomie als Wert: Zur historischen und rezeptionsästhetischen Kritik eines ideologisierten Begriffes // *Literatur und Leser*. Stuttgart, 1975. S. 101–118.

<sup>54</sup> Содержательные ограничения, налагаемые на интерпретации ценностных значений автономной субъективности, могут выступать основанием для применения элитной группой, теряющей возможности эффективного воздействия в условиях резкой конкуренции других элит, определенных защитных средств стабилизации своего легитимного и монопольного положения. Подобный контроль осуществляется, прежде всего, как редукция соответствующих блоков мотивационной структуры. Основополагающие идеи В. Парето в этой области были развиты рядом современных исследователей. См.: *Pareto V. Oeuvres complètes*. Vol. 15. Le mythe vertueux et la littérature immorale. Genève, 1971; *McKeon R., Merton R. K., Gellhorn W.* The freedom to read: perspective and program. N. Y., 1957; *Die Grenzen literarische Freiheit* / Hrsg. von D. E. Zimmel. Hamburg, 1966; *Ott S.* Kunst und Staat: Künstler zwischen Freiheit und Zensur. München, 1968; *Otto U.* Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik. Stuttgart, 1968; *Clor H. M.* Obscenity and public morality: Censorship in liberal society. Chicago, 1969; *Fügen H. N.* Zensur als negative wirkende Institution // *Lesen: Handbuch* / Hrsg. von A. C. Baumgärtner. Stuttgart, 1973. S. 623–642.

освободить такой тип литературного посредника, как библиотека, от ее аскриптивной связи с социальным «телом» – «государем», аристократией, магистратом или иной какой-то группой, культурный фонд которой она аккумулирует. Возникновение «книжных кабинетов», «платных абонементов» – явление, стоящее в том же ряду, что и авторское право, и профессионализация писательского труда, и формирование литературной критики и проч. Более того, репрезентированные в библиотечных фондах ценности и нормы определенной социальной группы, занимающей доминантное положение в общественной структуре, могут быть использованы как идеологическое оружие, средство аккультурации или обеспечения поддержки в проблематичных зонах социального влияния и господства.

Процесс дифференциации центральных значений культуры, и прежде всего – письменной культуры, обусловленный автономизацией различных социальных подсистем общества и соответствующих ценностно-нормативных образований (что предполагает наличие и институционализацию универсалистских коммуникативных средств), можно проследить на примере становления в Европе библиотек различных функциональных типов с характерным для них принципом публичности. Само существование различных типов библиотек (массовой, университетской, национальной и пр.) при сохранении идеи их «публичности» репрезентирует для исследователя (как и для представителя иной социальной и культурной общности, для которого оно, впрочем, не содержит идеологических претензий) «объективный» характер подобных образований, бытие которых «действительно» уже вне связи с персональным составом включенных в него индивидов. Библиотеки, уже вне зависимости от природы первоначального собрания книг (личного кабинета аристократа, дворцовой, городской или университетской библиотеки), приобретают относительно автономный статус, то есть открывают доступ для всякой публики. Идея «публичности» стоит в ряду таких объективаций, как ценность автономной субъективности, секулярная культура, гражданское общество, автономная литература и т. д. В их социально-исторической констелляции и складываются те типы и значения библиотеки, которые существуют в Европе Нового и Новейшего времени. В этом смысле даже изобретение печатного станка не является необходимым условием для существования библиотек. Так, например, в Китае магический характер письменной традиции, определивший статус гуманитарно образованного патримониального чиновничества, при наличии печатных устройств не привел к появлению библиотек, в то время как греки и без Гутенберга имели свои частные и государственные библиотеки<sup>55</sup>.

Утрата целостности и идеального характера культуры в Новое время, выражающаяся в многообразных формах процесса рационализации и секуляризации, сопровождалась постепенным переносом проблематики жизнеустройства с объективного мира на индивида, чье субъективное начало с течением времени становится единственной точкой отсчета и центром упорядочения реальности. За столетие до этого интеллектуальные эксперименты с онтологическими основаниями познания в сферах специализированного исследования (мы не касаемся проблемы мистических традиций) установили принципы новой философии. В литературе экспозиция метафизического плана на уровень человеческого бытия совершалась в принятии художником и, прежде всего, писателем прерогатив творца, создателя – единственного правомочного распорядителя содержания собственного вымысла, судеб своих персонажей. Именно литература в этот период претендовала на статус культуры в целом, так как в сфере неспециализированного знания она – в отличие от изобразительных искусств – имитировала подобие жизненного целого, создавая (в виде произведения, конституированного замыслом и исполнением) воображаемые миры, наделенные характеристиками временной, но замкнутой смыслом длительности. Подобными же формами организации времени обладала лишь музыка, однако ее

<sup>55</sup> Karstedt P. Studien zur Soziologie der Bibliothek. Wiesbaden, 1954; Weber M. Der Literatenstand // Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen, 1972. Bd. I. S. 373–395.

рафинированная, абстрактная чувственность препятствовала выражению непосредственного многообразия *социальных значений*, что неизбежно ограничивало – в силу сложности процесса научения абстрактному языку – сферу ее понимания и рецепции, как, впрочем, и ее тематизирующие потенции.

Литература началась с уподобления истории, вырабатывая квазиисторические формы, позволяющие воспроизводить определенные целостности и системы человеческих действий с возможностью контроля их последствий, т. е. некоторые замкнутые смысловые целостности. В этом своем качестве она стала конвенциональным эквивалентом назидательной словесности житий, хроник, зеркал и т. п., т. е. средством выработки «предвидения» или воображения и вместе с тем – самоответственного и рационального отношения к человеческому поведению, к потенциалу ценностных значений культуры. Поскольку другие общезначимые инстанции и неспециализированные формы критической оценки продуктов человеческого производства постепенно все больше и больше теряют значимость, силу и авторитет, то искусство, и прежде всего литература как наиболее универсальный тип репрезентации символических значений, становится адекватной имманентной формой рефлексии и идентификации в культуре. В этом смысле представляются симптоматичными как факт возникновения и укрепления популярности романа (именно в этот период), так и выработанные в процессе становления автономной литературной системы и ролевого самоопределения ее агентов – писателей «нового» типа – конститутивные черты романной поэтики, представляющей собой биографическое и морально оцененное воссоздание целостности индивидуальной жизни частного лица. Значимость романа для современной литературной культуры делает необходимым, как и в случае «литературы», исторический анализ этого понятия.

### *К истории понятия «роман»*

Получающее совокупность своих «современных» значений сравнительно поздно (и параллельно с «литературой»), понятие «роман» имеет длительную «предысторию»<sup>56</sup>. Первоначально (к VIII в.) оно выступает как прилагательное *romans*, характеризующее устный «народный» язык в противоположность письменной латыни. С XII в., в период сосуществования устной повествовательной поэзии на народных языках и корпуса письменных латиноязычных текстов, представляющих «литературу» (в ее эстетически-неспециализированных значениях), оно относится к текстам, письменно фиксирующим устную повествовательную словесность, и языку, на котором они фиксируются, т. е. указывает (как и обозначение «литература») лишь на языковой и письменный характер коммуникации. Позднейшее (субстантивированное, как и «роман») французское «*romancier*» («романист») бытовало в эту эпоху в глагольной форме и означало «переводить с латыни на французский», а с XV в. – «повествовать по-французски». «Роман» становится эквивалентом 1) повествовательной словесности на народных языках или переведенной на них, 2) письменного против устного.

Основными группами, сопротивляющимися на начальном этапе становлению романа как автономного и признанного литературного жанра, выступали определенные круги духовенства (янсенисты, иезуиты, кальвинисты) и классически (а позднее – просветительски) ориентированные литературные авторитеты (Буало, Вольтер, Дидро). При этом роман дисквалифицируется в основном по двум критериям.

Роману XVII столетия, т. е. двум его господствующим разновидностям – перерабатывающему куртуазные традиции прециозному (героическому, любовно-пасторальному) и мещан-

<sup>56</sup> Эта же лексическая основа дала такие связанные с историей романного жанра производные, как «романтизм» и ныне устаревшее «романтический»; очерки их исторической семантики в культурах Европы см. в кн.: *Romantic and its cognates: The European history of a word*. Manchester, 1972 (о России – с. 418–474).



скому (комически-бытовому) – предъявляются обвинения в «порче нравов» (тематизации «низких» по классицистическим канонам или табуируемых в «обществе» областей значений – эрос, преступность, деньги) и «порче вкуса» – экстраординарности вымышленных или гротескности «подлых» ситуаций, грубости или, напротив, вычурности языка (и в том, и в другом случае – жаргонности). Критика претензий романистов на место в «литературе» затрагивает, таким образом, все аспекты поэтики (аналитически разводимые исследователем): воспроизводимые в романе напряжения и конфликты (ценности достижения, любовь, анония), способ их представления (неправдоподобие, т. е. отклонение от нормы «естественного» для классицизма и раннего просвещения) и экспрессивную технику («слог»). Примечательна зафиксированная даже гораздо позднее (1826 г.) социальная норма немецких «порядочных семейств» «не говорить о романах при слугах и детях»<sup>57</sup>.

Кульминацией этой борьбы культурных группировок с применением социальных санкций является во Франции декрет 1737 г., запрещающий, кроме считанных исключений, публиковать отечественные романы как «чтение, развращающее общественную мораль»<sup>58</sup>. Средством разрешения конфликта стала публикация английских романов С. Ричардсона, Г. Филдинга и др., задавших французской словесности существенно иной образец поэтики, «чужой» и авторитетный в этом качестве для кругов маргиналов. Отличия, в частности, касались объема романа и степени конденсированности действия, развивавшегося хронологически и биографически (в противоположность неограниченному нанизыванию эпизодов – эквивалентов куртуазных «авантюров» – в многотомных прециозных повествованиях об условно-стилизированных античных героях). Это обстоятельство активизировало во Франции жанр микроромана (*pouvelle*), переосмысляемого под влиянием английского *novel* – биографического повествования о буднях «бесфамильного» частного лица в современную эпоху. Последний противопоставлялся вымышленному и условно-обстановочному *roman*се, квалифицируемому в Англии конца века уже как устаревший, стандартизированный – например, экзотический, разбойный, пиратский и т. п.<sup>59</sup> – и «низовой» жанр для «прислуги» (см. программное эссе К. Рив «Старинный *roman* и современный *novel*», 1785 г.<sup>60</sup>). Кроме того, под влиянием более ранних и по-иному протекающих процессов интенсивного социального и культурного изменения в английском романе со значительным опережением были выработаны значимые для определенных кругов французского общества (мелкой, чиновной, «новой» и т. п. аристократии) повествовательные образцы. В них тематизировались социальные проблемы, выдвигался тип героя – социального «медиатора», сниженного до «обычного человека», были найдены такие модусы литературности, как «психологичность», «чувствительность», «трогательность», универсализирующие социально-аскриптивные характеристики героев до «моральных, душевных качеств» (в чем сказалось воздействие идей англиканства, адаптированного английским романом в ходе секуляризации).

Последующая легитимизация романного жанра идет, естественно, по линии поиска исторических предшественников в восточной сказке, античной эпике, средневековом *romans* и т. п. Но прежде всего она осуществляется как выработка собственных эстетических конвенций, обоснование реалистической фикциональности и изощрение техники иллюзорного правдоподобия, подчеркивание нравственной полезности романов и их чтения.

Необходимо учитывать, что эти процессы в литературной культуре развивались в контексте интенсивных социальных и культурных изменений. Укажем, например, на повышение

<sup>57</sup> Ward A. Book production, fiction and the German reading public, 1740–1800. Oxford, 1974. P. 9.

<sup>58</sup> May G. Le dilemme du roman au XVIII-e siècle: Etude sur les rapports du roman et de la critique, 1715–1761. New Haven; Paris, 1973; Разумовская М. В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов. Л., 1981.

<sup>59</sup> Richetti J. Popular fiction before Richardson: Narrative patterns, 1700–1739. L., 1969.

<sup>60</sup> Этот и аналогичные ему манифесты собраны и прокомментированы в кн.: Novel and romance, 1700–1800: A documentary record. N. Y., 1970; Showalter E. The evolution of the French novel, 1641–1782. Princeton, 1972.

уровня грамотности, приобретающей значение средства социальной мобильности. В немалой степени это касалось женщин, что особенно важно для романа, бывшего в ходе различных движений за эмансипацию предпочтительным жанром читательниц и писательниц, более того – для многих образованных современниц «равенство полов» входило в широкий контекст эгалитарных требований, в том числе и «равенства жанров». Кроме того, для этого периода характерны интенсивное становление системы «массовой» журнальной и газетной печати, активизация производства дешевых, «рыночных» (в том числе «пиратских») изданий, массовая мода на чтение «профанной» беллетристики, повлиявшая, в свою очередь, на расширение круга деятельности библиотечных абонементов и т. д., что ознаменовалось позднее (в первой половине XIX в.) образованием относительно развитых и автономных национальных литературных систем и приобретением литературой и романом статуса универсальной культурной ценности<sup>61</sup>.

Так, существенное влияние на начинающуюся автономизацию культурного статуса литературы (в ее современном значении) оказали процессы становления национальной культуры и национального языка в Германии, имевшие ощутимый антиаристократический или, по крайней мере, антипридворный оттенок<sup>62</sup>. Одни из первых реформаторов немецкого языка были вместе с тем и первыми теоретиками словесности и литературы, издателями, авторами од, трагедий, поэм и т. п. (от М. Опица до И. Х. Готшеда). Их появление еще в первой половине XVII в. сопровождалось деятельностью различных «обществ немецкого языка», из которых ведущая роль принадлежит «Плодоносному обществу». Благодаря этому уже в XVIII в. было в значительной степени преодолено или как минимум подорвано господство пиетизма и светских интернациональных и рационалистически классицистских вкусов и принципов образования и воспитания, характерных прежде всего для придворных и аристократических кругов. О массовом чтении – прежде всего общеобразовательном, «культивирующем» – можно говорить уже начиная со второй половины XVIII в., поскольку именно в это время отмечается резкий рост городских читателей. Выходят различные журналы, начало которым положено «Немецким еженедельником» Хр. Томазиуса «для образованных лиц из всех сословий, включая женщин». И. Х. Готшед издает «Моральные еженедельники», «Разумные прорицательницы», печатавшие прозу и поэзию. Позднее появляются «литературные газеты», в которых сотрудничают и публикуются А. фон Галлер, Х. Ф. Геллерт, Ф. Г. Клопшток и др. Вместе с ними впервые возникает и литература для детского чтения (типа сборника назидательных историй), и, наконец, первый журнал для детей «Друг детей» Хр. Ф. Вейсе (1775 г.) и следовавшие за ним многообразные «детские еженедельники».

Как сами романисты, так и кодификаторы их творческой практики были вынуждены учитывать данные процессы, что заставляет их обращаться в поисках норм самоопределения к авторитетным достижениям естественных наук, философии, истории, теологии (таков, например, генезис понятий и принципов «реализма», «конвенции», «фикции» и т. п.). Ограничимся здесь лишь общими указаниями на некоторые феномены подобной адаптации. Роман, заступающий для секуляризирующихся групп место религиозного обоснования смысла деятельности в мире как «светское писание», постепенно и через многие опосредующие моменты усваивает – в различных, разумеется, национально-культурных формах – переосмысленные (в особенности – протестантизмом) христианские идеи личности как самоответственной инстанции и ее нравственного становления в рамках жизненного цикла, осмысленного и оцененного из «конечной» перспективы частного существования<sup>63</sup>. Во Франции аналогом этих

<sup>61</sup> Данные по Германии свидетельствуют о росте числа ежегодно публикуемых романов с 10 в 1740 г. до 300–330 к началу 1800-х гг. Примерно тот же порядковый размах и для статистики второй половины XVIII в. по другим европейским странам (Ward A. Op. cit. P. 167).

<sup>62</sup> Vogt E. Die gegenhöfische Strömung der deutschen Barokliteratur. Giessen, 1932.

<sup>63</sup> Beaujean M. Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bonn, 1969; Beaujean M. Das Lesepublikum der

процессов выступает влияние концепций и проповеднической деятельности янсенизма, адаптированное моралистическими жанрами и оказавшее через них воздействие на романистику А. Ф. Прево и др. (здесь, как и всегда, ситуация проповеди и обучения обострила моменты прагматической, коммуникативной структуры текста).

Тем самым был дан толчок субъективации определений действительности в романном повествовании, значения в пределах которого упорядочиваются через отнесение представляемого к ценностной инстанции личности и, соответственно, – к проблематизации точки зрения, фигуры повествователя, нередко рассказывающего о себе в прошлом из значительной временной перспективы, что задает рефлексивную, в том числе читательскую, дистанцию (так называемый «двойной регистр»). Другим моментом, стимулирующим проблематику самотематизации и влияющим на типы повествования от первого лица, является выработка техник условного правдоподобия, иллюзорного присутствия при происходящем, принимавшая формы фикциональной симультанности чтения и описания<sup>64</sup> («письмо», различные ситуации «подсматривания», фиктивный издатель найденных «подлинных» и частично остающихся зашифрованными документов и др. типы идентификации и дистанцирования читателя). Здесь сказывается влияние как «духовной автобиографии» (исповеди, отчета о духовном «хозяйстве» различных ересей и сект, например методизма), так и «модных» исторических мемуаров и дневников, проследить которое в деталях необходимо уже на конкретном историческом материале. Способом нормативной стабилизации этих разрушающих текстовую «реальность» моментов выступают сохраняемые (прежде всего, «популярным» романом, но отнюдь не только им) религиозные по своему генезису и универсализированные до «моральных» оценочные рамки координат описываемого (например, жесткая дихотомизация героев в тех романах, которые находились под влиянием сценической мелодрамы и т. п.)<sup>65</sup>.

С другой стороны, в романе дифференцируются и разводятся значения самой «истории», бывшей еще до романистов XVII в. синонимом давних и «высоких дел». «История» (часто вводимая уже в заглавия произведений с характерными предикатами «истинная», «правдивая») тем самым теряет престиж нормативной и самодостаточной реальности равного себе прошлого, «представленного» или, напротив, однозначно интерпретируемого в качестве «эмблематического». Через референцию к будущему как регулятивной инстанции она превращается для романистов и их публики к концу XVIII в. в область определений современного, частного и повседневного, то есть потенциально готовую к любому содержательному наполнению.

Под воздействием естественных наук, просветительского рационализма и укрепляющейся историзации социальных дисциплин проходит и сравнительная релятивизация категории «нравственного» до значений «представляющего обычаи, нравы». Рационализируется (хронологизируется) пространственно-временная артикуляция романного действия, открывая возможности для совмещения и взаимодействия различных ценностных перспектив рассказывания на фоне универсальных мер. Все это ведет к определению романа (*novel*, *roman*) уже не через область закрепленных за ним тематизируемых значений социальной действительности (к ним, кстати, относится и «любовь»: ср. еще и современную семантику «романа»), а исключительно через фикционализм норм и техник их текстового развертывания при нерелевантности каких бы то ни было априорных ограничений на предметные сферы тематизируемого.

Goethezeit // Der Leser als Teil des literarischen Lebens. Bonn, 1971. S. 5–32.

<sup>64</sup> В период 1735–1739 гг. романы от первого лица составляют 42% романной продукции во Франции (в предыдущее пятилетие их вдвое меньше), а с 1740–1755 гг. мемуары, исповедь, письма становятся «канонической формой художественной прозы» (*Demoris R. Le roman a la première personne du classicisme au Lumières. P., 1975. P. 448*(, см. также: *Mylne V. The eighteenth century French novel: Techniques of illusion. Manchester, 1965.*

<sup>65</sup> *Flessau K. Der moralische Roman: Studien zur gesellschaftskritischen Trivialliteratur der Goethezeit. Köln; Gras, 1968; Greiner M. Die Einstellung der modernen Unterhaltungsliteratur. Hamburg, 1964.*

К первым десятилетиям XIX в. роман осознается уже как наиболее адекватная литературная форма тематизации процессов социального и культурного изменения, что делает его принципиально «открытым» жанром, вбирающим разнородный тематический материал и различные литературные традиции, перманентно разворачивающимся, бесконечно дробимым на виды, подвиды и разрушающим любые содержательные ограничения. В рамках его вырабатываются теперь уже «имманентные» функциональные эквиваленты заимствуемых прежде авторитетных литературных, художественных и общекультурных конструкций (драмы, лирики, живописи, музыки и т. п.). Более того, и само появление «романа» связывается теперь с эпохой радикальной дестабилизации социального порядка («счастлива нация, не имеющая романов», – А. Шпехт, 1834 г.; «революции, эти повивальные бабки романов», – Ф. Шаль, 1839 г.)<sup>66</sup>.

«Родословная» жанра ведется от произведений С. Ричардсона и А. Ф. Прево (предыдущее расценивается, так или иначе, как «предыстория»), а роман становится синонимом «современности». Примерно к этому же периоду в ходе дифференциации социокультурной системы литературы роман, а точнее – некоторые типы его построения, вновь маркируется как «массовое» чтение: в 1830-х годах во Франции возникает и стремительно приобретает популярность и противников роман-фельетон («промышленная литература», по выражению Ш. О. Сент-Бёва). Данная универсализация жанра (в социальном и культурном аспектах) открывает возможность в дальнейшем – исторически, участникам процесса или их исследователю – фиксировать «на фоне» романа едва ли не всю совокупность особенно интенсивно с этого времени дифференцирующихся, борющихся и уходящих социальных групп и культурных традиций, делая его для Новейшего времени синонимом литературы в целом.

\*\*\*

Сложившаяся в ходе описанных процессов генетическая и функциональная связь идеи творца и независимости художников обеспечила писателю трансцендентальный статус в культуре, точнее, трансцендентальность его «субъективности». Иногда последняя передавалась «личности» повествователя, становящейся уже моментом конституции литературного текста. Смысловые, ценностные, культурные импликации литературного повествования могут, будучи развернутыми, объяснить функциональные ожидания и проекции, связанные с высоким статусом литературы как хранительницы культуры в ее значениях добра, мудрости, гуманности, осмысленности бытия и проч. Особенно это действительно для обществ, где только литература и выступает сферой, в которой легитимно может существовать эмансипированная от той или иной социальной тотальности культурная общность, т. е. где литература становится не только общей, но и единственной областью тематизации неспециализированных ценностных значений, синонимом политико-идеологического, философского и даже религиозного знания (как, например, в России XIX в.).

При этом по широте тематизируемой в литературе социальной проблематики можно судить о характере существующих социальных напряжений. Там, где литература не имеет характера репрезентации культуры в целом (а это связано с высокодифференцированной социокультурной структурой общества), она обычно «литературна», т. е. рефлексивна по отношению к себе самой, если так можно выразиться, «александрична», питается в значительной степени «вторичным» или собственно культурным, «мифологичным» материалом. В других же ситуациях литература тематизирует проблематизированные социальные значения или культурные образцы социального, а подчеркнуто «литературная» словесность расценивается крайне отрицательно и характерным образом квалифицируется (а порою и осознается самими ее авторами) как «чужая», инокультурная (ср. неприятие идей и образцов «чистого искусства» в Рос-

<sup>66</sup> *Iknyan M.* The idea of the novel in France: The critical reaction, 1815–1848. Genève; P., 1961.

сии второй половины XIX века, резкие отзывы А. Блока о манифестах и практике акмеизма как «нерусском» явлении<sup>67</sup> и т. п.).

Претензии литературы как субститута культуры на то, чтобы выступать потенцией любых ценностных определений, т. е. на обладание способностями к изображению любых аспектов человеческого в целом, универсальны. Однако, как свидетельствуют исследования ценностного содержания художественных произведений, литература ограничивается исключительно сферой общекультурных, неспециализированных значений, ценностей, идей, норм, представлений и т. п. Крайне редко (как правило, в экспериментальной или высокоэлитарной литературе) предметом ее внимания становится какая-то специальная сфера жизнедеятельности (например, ценности рационального познания, религиозные переживания, прямая политическая агитация). Это еще раз, вопреки ее собственным претензиям, свидетельствует о прежде всего идентифицирующем значении литературы, ее в основном интегративной функции в качестве средства тематизации и поддержания смысловых значений, интегрирующих формы редукции социальных или культурных напряжений, в том числе – напряжений субъективного самоопределения.

---

<sup>67</sup> Блок А. А. Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 174–184.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.